

Леонид Финкель

•

Меблированная ПУСТЫНЯ



Леонид Финкель

Меблированная пустыня (сборник)

«Алетейя»

2017

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Финкель Л. Н.

Меблированная пустыня (сборник) / Л. Н. Финкель —
«Алетейя», 2017

ISBN 978-5-906910-48-6

В этой книге собраны рассказы и повести автора, у которого три родины: Украина, Израиль и русский язык, русская культура. Грустные и смешные повести о людях, которые в России были евреями, а в Израиле стали считаться русскими – результат накопленного жизненного опыта. Почти каждого, кто совершил восхождение в Израиль, этот опыт странно побуждает к размышлениям, от которого возникает головокружение, как от неудачно подобранных очков. Автор живет в древнем израильском городе Ашкелоне, которому идет пятое тысячелетие, здесь были египетские фараоны и ассирийские цари. Ашкелон известен подвигами легендарного Самсона, здесь родился царь Ирод. Автор уверен, что неслучайно именно здесь он почувствовал неправдоподобие не только собственной биографии, но и любого жизненного опыта. Здесь уже все было. Здесь еще все может быть.

УДК 821.161.1

ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-906910-48-6

© Финкель Л. Н., 2017

© Алетейя, 2017

Содержание

Письмо внуку	6
Меблированная пустыня	9
1	9
2	12
3	19
4	25
5	33
Конец ознакомительного фрагмента.	52



Леонид Финкель
Меблированная пустыня

© Л. Н. Финкель, 2017

© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2017

Письмо внуку

Томеру

Ты только что кончил рисовать, уронив карандаш, поднял, растопырив пальцы, над рисунком руку, точно его охраняешь. Ладонка маленькая – не шире тополиного листа. А под ладонью что-то волнистое, живое. Холмы? Волны? Впрочем, тебе ещё невдомёк что это и облако, и гора, и стадо овец – узнаю любой образ мира, как в ударе колокола можно слышать при желании любой голос.

Но сейчас для тебя в мире только одна новизна, та, которая рождается под острием твоего карандаша.

Потом пройдет немало времени, и ты задумаешься о чувствах, что испытывали люди до тебя. Узнаешь, что они удивлялись, радовались, любили. Потом умерли, куда же ушло это богатство?

Там, в Союзе, я б оставил тебе в наследство роскошную квартиру, библиотеку, каких мало. Здесь, на Святой земле – ничего этого уже не добуду – не тот возраст, если б и возмечталось, так нет разбега...

Я хочу, чтоб ты знал, почему перегревается от напряжения разум. Что вызывает бессоницу, не даёт жить. В сущности, мне надо самому разобраться, но чтоб разобраться самому, надо думать сообща...

Каким ты будешь, мой внук? Бойким и энергичным, как твоя мама, вечным отличником, работягой, как твой отец? Иногда мне кажется, что ты будешь в бабку, та и бойкая, и энергичная, и такая же вечная отличница и труженица, на чем стоял и стоит еврейский мир. Дай-то, как говорится, Бог чтоб в бабку. Но и хлопот при таком характере не оберёшься: всё непременно в срок, всё по самому высшему разряду, впрочем, это будет потом...

В самом деле, а что будет «потом»?

Начнёшь выбирать профессию, знай: многие поколения в твоём роду были музыкантами. Давным-давно начинал праотец нашего рода Мендель, редкий человек. Это от его скрипки сходили с ума женщины и делались бунтовщиками мужчины. А дальше – сколько консерваторий закончили, сколько музыки написали и сыграли! В семье хранилась дирижёрская палочка, передавалась от отца к сыну... На мне всё и оборвалось...

Мы с матерью уходили из горевшей со всех сторон Полтавы, которую подожгли не то свои, не то чужие, теперь уже не разобраться...

У матери хватило мужества и здравого смысла не верить дядюшке, который утверждал, что помнит немцев по первой мировой войне 1914 года – интеллигентнейшие, – говорил, – были люди!

Дядюшка жил в Киеве, там и застал его приказ явиться на угол Мельниковской и Дохтуровской (возле кладбища), с чего, как известно, и началась дорога в Бабий Яр. Дядюшка же, читая приказ, быстро смекнул, что те интеллигентные немцы в Киев не пожаловали, а пришли какие-то другие, которым ни до Гёте, ни до Бетховена нет дела (тут дядюшка ошибся – многие из убийц обожали и Гёте и Бетховена и Вагнера – я не знаю, сколько еще масок надо надеть искусству, чтоб не ощутить этой пощёчины).

Родственник на перекрёсток означенных улиц не явился, но перехитрить коменданта города не удалось. Дядюшку повесили на балконе собственной квартиры. Прямо на Крещатике. Главной улицы Киева. Как нашли? А дворник старый кожаный диван их присмотрел. Чёрт знает, что он в нём нашёл! Но диван понравился, приглянулся...

Когда уже после войны возвратились в Полтаву и вошли к своим соседям, те вздохнули: другим везёт... владельцы вещичек, сдохли или их пристрелили, а эти вот явились...

В общем, бежали мы из Полтавы, слава Богу, живы, а дирижёрскую палочку прихватить не успели. И соседи о палочке ничего не знали. Кто взял буфет, кровати, патефон – всё помнили, а вот про палочку не знали, всё натурально, зачем им эта палочка, они без сантиментов...

А потом стало не до музыки. Отец с войны не вернулся, даже могила его затерялась в смоленских лесах. Мама едва сводила концы с концами. Вот только, когда кто-нибудь играет на скрипке – чувствую на глазах слёзы. Представляешь, даже когда весёлая музыка – всё равно слёзы.

Так что сам решай – быть тебе музыкантом или нет. Сейчас музыкантов в Израиле – пруд пруди. Говорят, кто сошёл с трапа самолёта без скрипки, тот наверняка пианист.

Убеждён – скоро будет иначе, потому что когда музыкант подметает улицы – музыка беззащитна ещё больше, чем музыкант. Потому что золото можно делать только из золота. Ты понимаешь, что я имею в виду...

Ну вот, приобретёшь профессию, найдешь друга, встретишь женщину. Впрочем, здесь всё будет непросто, в особенности, если характер окажется действительно бабушкин – будешь играть не часами – сутками, проклянёшь всё на свете. Женщины – тоже не подарок – одна, другая изменит, потом друг предаст. И ты уже готов приставить к виску штуковину, которая в Израиле продаётся даже невменяемым. Вот не так давно молодой человек натворил дел, перестрелял всех подряд, стали проверять – душевнобольной...

Тогда и вспомни совет деда: самая прелестная в мире женщина, самый большой друг – это только микроскопические песчинки в сравнении с огромной радостью жизни, хотя и без женщины и без друга радость, разумеется, будет значительно меньшей. И все-таки... Сколько всего у тебя будет!

Ну, во-первых, страна. Плохая или хорошая, с левым правительством или правым, с автобусами, которые ходят в шабат или нет, с собственными ворами и проститутками, о которых «мечтал» Бен-Гурион (чтоб быть похожим на другие государства), но своя собственная держава. Государство. Медина.¹ Упаси Бог покинуть её, как покинули когда-то наши предки. Если б они защищали её с таким рвением, какое последующие поколения потратят на возвращение, её никогда б не отняли.

Трудно даже представить, что значит своя страна! Не могу и я о том сказать, потому что не выпил её ещё не только сполна, но, можно сказать, даже не пригубил. Конечно, и в других землях жили евреи, как жили наши предки на Украине. И небо там синее вовсе не от синяков, а потому что просто синее. Но дышать там можно было, только непрерывно крича: «Ура!». А это утомительно, да и на оптимиста нельзя выучиться, им надо родиться.

В сущности, Израиль – это воскрешение действительности, которая была до нас... И если у тебя есть воображение – оно у тебя есть наверняка – ты услышишь, как играет на арфе царь Давид, как Шломо² шепчет слова «Коэлет»³, как стонет связанный Шимшон...⁴

На этой земля у меня устойчивое ощущение полёта. Как в сновидении всё является разом и откуда-то... И эта удивительная новизна рождения! Представляешь, родился стариком, а умирать буду, это уж точно, ребёнком. И по земле хожу, как по небу и парю головой над бездной неба...

Только сейчас я понимаю, что жить на Святой Земле – духовное сверхусилие, насколько же это лучше духовной рассредоточенности, когда каждому достаются только крохи...

И ещё, внук мой, есть у тебя свой язык. И тут я тоже не могу тебе сказать, что это значит, хотя с ивритом у меня никаких проблем. С моим ивритом проблемы у всех других израильтян.

¹ «Государство», *иврит*

² Царь Соломон.

³ Книга «Экклезиаст»

⁴ Самсон

Чужой язык – это почти всегда чужой ум.

Язык – родимое пятно души. Язык пророков даётся во спасение. Один такой в мире!

Быть тебе верующим человеком? Это выбрать тебе самому.

Мы с твоей бабушкой уезжали из богооставленной страны. Бог ушёл из неё, потому что оказался ненужным: он мешал творить насилие, ставить эксперименты, не задумываясь о праве на них.

Мы оказались неверующими, потому что выросли в неверующей стране. Неверующие и теперь. Не потому, что не желаем, скорее не готовы поверить...

А вера делает человека не только совестливым. Вера делает человека ещё и молодым. Остался же молодым наш праотец Авраам, и была в свои девяносто лет молода Сарра, чтобы родить ребёнка. И что, ещё пуще, чтобы желать его...

Ах, как часто мы были ворчунами:

– Ну и жизнь! Перевернул бы её кто-нибудь верх дном!

Прошу тебя, не верь тем, кто так говорит. И упаси тебя Бог что-нибудь переворачивать. И никогда, ты слышишь, никогда не делай революций. Потому что сделать революцию – значит сдвинуть огромный камень, который полетит в пропасть, всё руша, всё, сметая на своём пути, вызывая обвал за обвалом. Что в сравнении с этим обвалом измена женщины или друга, тем более, что женщин в этом мире куда больше, чем нужно для одной жизни. Да, в сущности, и нужна только одна, которая перетерпит все твои глупости и бредни, как терпела их твоя бабушка, когда у деда вызревала страстная любовь ко всему миру. И уж вовсе безудержная – к книгам, которых не было разве что под кроватью.

Всё ничто по сравнению с обвалом огромного камня, который, как оказалось, и остановить невозможно, только и дожидаться, пока он достигнет дна пропасти...

Если тебе уже захочется какой-нибудь новой, неслыханной свободы – надень-ка ты на ночь фригийский колпак. И всё. И перетерпи. Только не делай никаких революций. Бог с ними...

Вот, кажется, и всё. Тем более, что наверняка найдутся люди и даже кто-нибудь из родственников, кто скажет, что всё-таки было бы лучше, если бы я оставил тебе дом, самолёт, или на худой конец яхту. Да я и сам так думаю, тем более, чем это куда надёжнее предотвратит тебя от революций, нежели абстрактные советы.

Но я же предупредил: на всю эту роскошь – нет разбега. Так что передаю только свои суетные мысли, то, что нажил. Как видишь, немного. Совсем недостаточно, чтобы ты пришёл на нашу с бабушкой могилу, хотя, если честно признаться, нам очень того хочется. Приди и положи камень. Он, этот камень, из тех, что наши предки столько раз разбрасывали и собирали, сыграл не последнюю роль и в нашей жизни.

Так что, приходи, как приходил к нам в детстве.

Приходил, зачаровывал, и наступало счастье.

1992 г.

Меблированная пустыня

Несется земля – меблированный шар
Осип Мандельштам

1

Утром в почтовом ящике я нашел приглашение: «Управление тюрем. Министерство внутренней безопасности. Церемония открытия новой тюрьмы «Цальмон» в районе Каланит, Галилея. Состоится во вторник, 30 января в присутствии председателя Верховного суда – проф. Аарона Барака, министра внутренней безопасности – Моше Шахаля, начальника управления тюрем – генерал-лейтенанта Арье Биби».

К приглашению приложена карта, и рассматривать ее – то же, что читать Вергилия.

Я улавливаю тошнотворную вонь камеры, но тут же соображаю, что камера новая, и я понесусь туда, как письмо по почте. Я понесусь на цементное лежбище – кровать и, глядя в потолок, буду думать, думать, думать.

Впрочем, не приглашают ли меня в качестве начальника? Я ведь разослал столько душе-раздирающих писем с мольбой о тепленьком местечке!

А вообще, новая тюрьма «Цальмон» наверняка, лучшее в Израиле место, чтобы писать книгу, в особенности, если халатно относиться к своим обязанностям. Да, лучшее место, чтобы писать, потому что... во мне растет Книга. Я ношу ее, как женщина ребенка. Я хожу по городу беременный. Женщины в автобусе уступают мне место. Я беременный и, когда смотрю на темно-синий экран компьютера, меня тошнит со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Смотрю в одну точку минуту, другую, десять, пока не начинается резь в глазах. Переключаю на другую программу. Шахматную, например.

Проиграв раз десять в шахматы компьютеру, снова включаю экран с надписью: «КНИГА».

Какая Книга?

Что за Книга?

Почему вообще надо писать Книги, когда в мире их куда больше, чем требуется на душу населения, к чему еще одна?

Звонит телефон. Какая-то женщина просит выступить по радио РЭКА и сказать о бедственном положении пенсионеров.

– Бесэдер?⁵

– Бесэдер.

– О'кей?

– О'кей...

И ни одного понятного русского слова.

Снова сажусь. Понимаю: маюсь дурью и сегодня ничего не выйдет, как начать эту проклятую книгу – не знаю. Может быть, так и начать: «Бесэдер? Бесэдер. О'кей? О'кей». Чем не содержательный разговор?

Звонит телефон. Мужчина просит помочь получить социальную квартиру: «Если вы расскажете мою историю по радио РЭКА на всю страну – жильё в кармане», – говорит он.

– На всю страну?

– На всю страну.

⁵ Хорошо?

– Так ведь уроженцы Израиля русское радио не слушают. И чиновники тоже, – отбиваюсь я. – Русские средства коммуникации – в Израиле далеко не четвертая власть...

– Какая по счету? – допытывается он.

Пытаюсь мрачно шутить:

– «Не какая», а «никакая»...

– Мне главное, чтоб на всю русскую страну... на всю святую Русь... Бесэдер?

– Бесэдер.

– О'кей?

– О'кей.

Пожалуйста, думаю я, вот и завязка романа, и кульминация, и даже развязка: «Бесэдер? Бесэдер. О'кей? О'кей». Можно, конечно, разбавить лирическими отступлениями типа:

– Что слышно?

– Как здоровье?

– Как дела?

Но заканчивать все равно придется: «Бесэдер? Бесэдер. О'кей? О'кей...»

Может быть, прямо так и отнести в типографию. Чем не книга? Расходы минимальные. Разве что на обложку, на художника и корректора. Иди, знай, как писать этот чертов «Бесэдер», что писать после «бет» – «алеф» или сразу «рейш»?

Черт шепчет:

– Не пиши, не пиши, не пиши. Главное – вовремя поставить точку. Бесэдер? Набросится критика. Обвинят в американизации, натурализме, искажении национального начала, не пиши... Бесэдер?

Минуту подумав, облегченно вздыхаю:

– Бесэдер.

– О'кей?

– О'кей...

Экран светится без единой буквы. Тошнота подкатывает к горлу.

– Пиши, пиши, пиши, – шепчет ангел. – Булгаков писал и добился. Знал, что роман никогда не опубликуют, но писал. И вот, пожалуйста: «Рукописи не горят!» Пиши. Появится спонсор из этих самых «новых русских евреев» и скажет: «Открой ящик письменного стола. Я – плачу...» А у тебя – торическая пустота... Умоляю тебя, пиши, пиши, пиши. Бесэдер?

– Бесэдер, – вяло отвечаю я, пожалев, что не выключил компьютер но в конце концов, должен же кто-то быть оптимистом. Вот ведь кричал же свои странные слова чеховский Петя Трофимов: «Вся Россия наш сад! Земля велика и прекрасна, есть на ней много чудесных мест!». Не для проформы прокричал же!

Сейчас же начну искать лицо среди хаоса. Свет среди тьмы.

Лицо является сразу, как глаз Циклопа. И в нем что-то нервное: «Нет ответа, нет ответа...»

Теперь надо искать свет.

Отрываюсь от компьютера и начинаю читать все, что попадает под руку: старые газеты, календари. Именно об этом будут говорить сегодня по любому из каналов ТВ.

– О'кей?

– Я же никогда не обманываю!..

– Бесэдер, – доверчиво и удовлетворенно вздыхает ангел.

– Что такое искусство? – успокаиваю себя. Набор запечатленных идиллий. И герой лелеет их в душе, не смея расстаться с ними. Может быть, придумать какую-нибудь идиллию? Про Царскосельский Лицей, например. Чем не идиллия? Или про израильского Илюшу Обломова. Сейчас он мечтает открыть антикварную лавку, еще одну русскую газету, массажный кабинет. И вдобавок – торговать русским квасом.

Без идиллии нет счастья в полном значении. Нет мечты, нет нации.

Дон Кихот – мечтатель.

В псалмах Давида – идиллия.

Нагорная проповедь – идиллия...

Идиллия смывает все суетные вопросы, ибо в ней есть животворная сила: Новый Ближний Восток... Советский человек – строитель сионизма...

Идиллия привлекает тайной властью, не убеждая, не насилуя сознание, шепчет: тут, на этой земле, надо жить так...

«На самом деле никто ничего не делает, успокаиваю я себя. Смотрят вот так тупо на синий или черный экран, уронив руки на колени, и, как Обломов, обретают цельность, зная, что не откроют ни антикварную лавку, ни массажный кабинет. И русским квасом торговать не будут, тем более, что он и без того продаётся на каждом шагу... Пусть Штольц этим занимается... Строит, созидает, сулит окончательную победу над силами зла. Реалисты оказываются утопистами. Утопист – мечтатель – реалист, он и мыслит здраво, не дура себя химерами. Не на что печатать роман? Плюнь на роман. Он – предсказатель непогоды. В нем – неслыханные потрясения, а так, выключишь компьютер – и никаких проблем. И снизойдет великая тишина. И музыка, наконец восторжествует.

Да, на самом деле никто ничего не делает. Просто слова. Попытка придать смысл своей жизни. В пустых глазах политиков, в тоне работающих – безнадежность материалистического пути этого громкого созидания.

Есть только одно созидание – вечное, великое.

Без треска и фраз.

В нем вся надежда.

Я выключаю компьютер, этот пинок под зад Богу, Человеку, Судьбе, Времени, Любви, Красоте. Но я все еще барахтаюсь во всем этом, в этом Боге, Человеке, Времени и снова во Времени, потому что Любви нет, осталась одна только физиология любви. В любви, как и на войне, нужна храбрость, а где теперь храбрые? Все трусы. А я люблю всерьез и надолго...

Телефонный звонок прерывает мои размышления. Разговор репетирую по пути к телефону:

– Бесэдер?

– Бесэдер.

– О'кей?

– О'кей.

Мой роман с человечеством продолжается.

А все потому, что беремен Книгой.

Я думаю о Любви. О своей жизни. О том, что безоговорочно кануло в Лету.

И только тюрьма «Цальмон» – привлекает возможностью согреться в зимнюю стужу.

О, комфортабельные тюрьмы!

2

В ту ночь мне снился Федор Михайлович Достоевский.

Бледный, худой, он как-то зло и болезненно наблюдал за мной и вдруг пригласил пройти в сумрачную и безмолвную бездну, комнату без стен, в середине которой стоял мягкий диван, покрытый коричневой, довольно подержанной материей, а рядом – круглый столик, с красной суконной салфеткой.

– Нуте-с, каким же неизвестным ветром вас сюда занесло?

И, не дождавшись ответа, вдруг заговорил о беспокойстве, которое вызывает в нем растущее влияние евреев в христианском мире. Уверовав в спасительную миссию цивилизации, еврейская молодежь, видите ли, с головой ушла в науку, экономику, общественную жизнь, представьте себе, если так пойдет дальше, станет господствующей в каждой нации...

– Да! Верхушка евреев воцаряется над человечеством все сильнее и тверже; и разве можно не заметить того, что она стремится дать миру свой облик и свою суть!

Мне казалось кошунственным пересказывать его речи, но я вдруг почувствовал, что бес- силен и опустошен. Бездны его я не боюсь, а наоборот, страшно боюсь тесноты. Она, а не без- дна будет началом конца...

– Но, простите, разве не вы выступили за расширение прав евреев, за полное равенство их с коренным населением? – осмелел я, глядя прямо в поразившие меня глаза Достоевского: один – карий, а в другом зрачок непонятого цвета расширен во весь глаз; и эта двойственность придавала глазам какое-то загадочное выражение.

– Заступитесь за страждущего – Христов закон, – оживился Федор Михайлович, – мне лучше остаться с Христом вне истины, чем с истиной вне Христа...

И он снова стал излагать свои соображения о «жидовстве и об идее жидовской, охватывающей весь мир», вместо неудавшегося христианства: «Подменили идею Бога... идеей жиды...»

Комната, как я и боялся, вдруг стала сужаться. И теснота становилась невыносимой. К своему ужасу, я поймал себя на том, что не слушаю великого писателя земли Русской, а думаю совершенно о другом. О том, например, что не смерть пугает, а пошлость жизни, жизнь без мысли о смерти и вечности, смерть заживо в жующем и храпящем теле...

«Из этой комнаты – нет возврата, – думал я. – Чувствуешь себя камнем в праше...»

И тут я проснулся. Но Достоевский долго не отпускал. Я точно видел его живого, реаль- ного: он подsunул пальцы под книгу, подтолкнул ее к себе, так что она вся целиком лежала у него на ладонях. Раскрытая книга на пюпитре его ладоней. В таком положении он поднес книгу к носу и тут же захлопнул...

...Целый день я листал Достоевского, благо вместо мебели вывез из Союза тонну книг. И вот, пожалуйста: «Жид и банк – господин теперь всему: и Европе, и просвещению, и цивилиза- ции, и социализму. Социализму особенно, ибо он с корнем вырвет христианство и разрушит ее (Европы) цивилизацию. И, когда останется одно безличие, тут жид и станет во главе всего. Ибо, проповедуя социализм, он становится между собой в единение».

«Интересно, – думал я, – знал ли Достоевский, что «жид» (капиталист, социалист) нико- гда не был лидером нации, «верхушкой»? Властителем дум еврейства, как и любого народа, обычно становились религиозные, общественные деятели, отвергавшие не только «классо- вый подход», но и меркантильные соображения. Автор «Дневника писателя» был убежден, что поощрение капиталистического производства равносильно покровительству евреев: «Про- мышленность сама сделает дело, даст хлеб, обогатит жидов», дескать, таковы неизбежные последствия безнравственных предписаний... Вести дела и не облапошить соперника, не нару- шить Божью заповедь: «Не укради?»»

В общем, всё по еврею Марксу. Всё по Марксу...

А вообще, Достоевский – это трудно. Достоевский был гением-провидцем. Все, что надо знать человеку о жизни, – писал Уильям Фолкнер, – мы находим в «Братьях Карамазовых»... Возможно, его ненависть к евреям помимо страха в ожидании «жидовского царства» существенно подпитывалась завистью игрока, проматывавшего за игорным столом свои и чужие деньги, ко «всяким ротшильдам», умевшим накапливать, а не пускать на ветер свои капиталы. Нельзя исключить и стойкую зависть к многовековой вере и преданности евреев Торе: «Еврей без Бога как-то немыслим, еврея без Бога и представить нельзя».

А и еврейская месть сильна. Евреи – отчаянные поклонники Достоевского... Мягкий диван и круглый столик путем странных превращений вдруг перестроились в Стену Плача. Казалось, она сложена не из камней, а из горьких слез тысячелетий. Что-то мучило, не давало покоя.

С моим молодым другом Цвикой мы шли «продавать» идею.

Идея была ослепительна, как прожектор в ночи. А главное, с каждым шагом становилось реальнее, весомее, даже что-то космическое казалось в ней. Видимо, сами деньги, которые она несла: то был новый, замечательный, сладостно-высокий уровень жизни, когда большую часть твоих денег отнимает налоговое управление!

– Ах, Тель-Авив, Тель-Авив! – ликовали мы, глядя на здания промышленной зоны. Сказка! Мечта! Сон! Сплошные нереализованные возможности!

Облупленных стен мы не замечали. Мы просто не смотрели на них: заработаем – хватит денег заделать все дыры на свете...

Наконец, в моем друге разыграл реализм:

– Послушайте, летчик, может быть, надо сказать парашютистам, чтобы перестали прыгать, ведь мы еще не взлетели...

«Покупатель» идеи был точен, как часы. Лицо его сияло яркой, разбойничьей улыбкой. Невооруженным глазом было видно: сукин сын! Но голос крови останавливал: «Сукин сын, говоришь? Ведь свой сукин сын, не чужой, еврейский Разбойник!»

– Значит так, – предупредил я Цвику, – стоит нам только высказать ему суть идеи, как он тут же скажет: «А... Мы это уже пробовали».

– Уже пробовали, – сказал «сукин сын», едва Цвика приоткрыл рот.

Но взять нас было не так просто.

Надо ему отдать должное. Прибыль он почуял сразу. Суть понял мгновенно. Только технология оставалась для него тайной за семью печатями. А мы затаились...

Быть может, день, который предшествовал моему странному сну.

И он взлетел. Жалобно и трогательно, как олимпийский Мишка в московское небо. Или как Карлсон. Цвика даже утверждал, что видел моторчик. Он кружил и кружил над нами, а нас распирало от гордости.

И мы не выдержали. Проболтались. И он взял нас голыми руками. Ободрал как липку. И с лица его тут же слетела улыбка. И мы с Цвикой сразу увидели его поджатые губы, большой нос, вдавленный рот, свидетельство неуживчивого, а может быть, злобного характера.

И тут же захотелось на баррикады. В большевики.

– Шалом, друг! – послышался через несколько дней голос Разбойника. И от удивления у меня зашевелилась во рту вставная челюсть. – Как поживаешь? Как здоровье?

– Ты это всерьез? – спросил я, подбирая подходящие ивритские слова. – Ты же нас пустил по миру и спрашиваешь о здоровье?

– Ах, значит, благодаря мне вы теперь будете много ездить, путешествовать? – так понял он мою мысль.

– Дубина! – сказал я. – Впрочем, в твоих словах есть здравая мысль: пора искать на глобусе новое Отечество... И вообще, как говаривал Бродский, взглянуть на Отечество можно, только оказавшись вне стен Отечества. Или – расстелив карту. Но... кто теперь смотрит на карту?

– Глобус... Мир... – философски заметил он. – Значит, у вас все еще есть не только идеи, но и деньги. О'кей! Это то, что нужно Эрец-Исраэль. Партии Рабина требуется свой человек по связям с новыми репатриантами, то есть, разумеется, на самом деле нужен сторож, но по совместительству... И притом, человек партийный... Я подумал, что могу предложить тебя, все-таки, все евреи – братья... Потом, как никак, оба газетчики, коллеги... Об условиях поговорим... Хочешь, у тебя дома? Я захвачу жену, пусть развеется, она обожает «русских»...

«Не много ли для одного раза, – подумал я. – Он, его жена, да еще: «Все евреи – братья». Это же – пустое сотрясение воздуха. И, между прочим, правильно. Пока он здесь начинал с нуля, дрался с другими за место под солнцем, терпел удары, радовался воинской службе (все-таки от жены продых!) и не очень трусил в бою, мы с Цвикой уплотняли первые ряды интернационалистов. Собирались в ночные очереди за книгами, в заочные – за билетами в Театр на Таганке, на концерты Вана Клиберна... Еще бы, мы ведь – евреи, элита, мудрецы, больше русские, чем сами русские, лучшие знатоки старинного русского романа, Пушкина, родословной Рюриковичей. Мы загибали пальцы, подсчитывая количество евреев – лауреатов Нобелевской премии. Евреев, которых надо поставить на первое место по вкладу в человеческую цивилизацию и культуру... («Конечно, нет научных критериев, которые позволили бы с достаточным основанием ответить на вопрос, какой народ внес в культуру самый большой вклад, но нет сомнения, что на первом месте – евреи, а на второе поставить некого», – глубокомысленно сказал мне один из «братьев»).

Союз композиторов СССР просто распирало от его еврейских членов. Когда на съезде писателей выступал председатель мандатной комиссии, при слове «евреи» тут же возникал пчелиный гул: «Ого-го-го!..»

Находились, конечно, и «братья» сродни Разбойничку. Но те не афишировали себя. Помню, одного директора артели. Дело было в пятидесятые годы. Его сын учился в нашем классе. На выпускном вечере только он один и был в костюме, все остальные – в так называемых «москвичках»: этикие, серо-синие, бело-черные курточки с замком-молнией – верх роскоши в еврейских и других бедных семьях.

Слава о директоре стояла замечательная. Когда задерживали зарплату, он не томил своих рабочих ожиданием, а платил прямо из своего кармана. Артель была нехитрая – делали детские игрушки. Собственно даже не делали их, а скупали по всей стране. А атлас и другую ткань, которую выделяли на игрушки, использовали не по назначению. Вернее, как раз по назначению, не сомневаюсь, директор артели знал в этом деле толк куда лучше, чем председатель Совмина...

Как и тысячи других дельных людей, бедняга умер в лагере. Что-то там не поделили дружки из партаппарата. Но многие, похожие на него, все же вырвались на свободу: алия семидесятых годов, вопреки утверждениям, была далеко не только «сионистской». Людей с головой, способных наладить капиталистическое производство, так сказать, «на дому» и понимавших, чем это им грозит в Союзе, уже тогда было немало.

А русские, и украинцы, и все другие трубили во весь голос: «Вот евреи не то что цацапы или хохлы, – дружный народ!» А дружного и было только, что «дружно» штурмовали все и всяческие «ряды»: от «интернациональных» и «патриотических» до первых рядов в ЦДРИ, ЦДЛ. И, конечно, в местных музыкально-драматических театрах, филармониях, где зачастую вообще были одни только евреи.

Я ходил по комнате шаг за шагом и думал, что эти воспоминания – не самые неприятные, нет, они сегодня как раз особенно и греют душу и вызывают щемящую тоску, которая в конце концов материализуется в шекели, отданные все тем же гастролерам – от ансамбля бывшей Советской Армии до Филиппа Киркорова. Верные себе «русские» евреи опять оказываются в первых рядах. Вот только нашего «Разбойничка» искать на этих концертах – пустое дело. Впрочем, и не надо. Он вас сам найдет, как сейчас меня, которого в очередной раз распирает от гордости и самонадеянности – верный признак, что вновь обдерут как липку. А что ж делать, мы ведь «тонкие», мы «без кожи», ранимые, взлелеянные мировой еврейской скорбью, нештутейными проблемами Вечного Жида, мы же образование свое выстрадали на философских факультетах университетов и в консерваториях... Ну, какой еще там базар? Что за биржа? Непристойно-с!

Когда-то дед в местечке мечтал: «Вытянусь, а детей выучу, потому что у детей – талант!» Дед сказал и сделал. Только наука не пошла впрок: квелые в делах, неисправимые романтики. И эту страну в пустыне заселили и выстроили не мы, а «разбойнички» с их веселой и обезоруживающей улыбкой. В конце концов, на их «разбойничьи» семнадцать процентов налога, которые платят они государству, я и мне подобные существуем сегодня!

И вдруг меня осенило:

– Ты предлагаешь мне место сторожа в тюрьме «Цальмон»?

– Чего вдруг? – пискнул он.

– Просто это подкупает...

– За давлением следи, чтоб не повышалось! Так мы с женой придем, ты слышишь?

– Слышу, слышу, покричи про себя, не глухой... – Я вдруг вспомнил, что мой обидчик был в кипе. И отсюда начинался для меня новый круг, новые сны, а скорее ночи без сна. – Ладно, приходи, жду...

И снова он пришел вовремя. Жена его, вся в черных завитушках, с бесчисленными кольцами на пальцах, браслетами (даже на щиколотках), поглядев на мои книги, кисло улыбнулась и плюхнулась в кресло. Закурила.

– Сколько времени ты в Израиле? – пуская дым, спросила она.

– Я родился здесь! – и она так закашлялась, что я немедленно протянул ей стакан воды. Разбойничек захохотал.

– Кофе, чай, с сахаром, с сукрозитом, сколько ложечек, одну, две? – спросил я, выказывая такие познания в местном этикете, как будто бы и в самом деле родился здесь.

Лохматый Разбойничек в сандалиях на босу ногу, в мятых шортах и майке с изображением красавицы в завитушках (мало ему одной!) сказал:

– А ты приятный, ты не похож на «русского», ты действительно родился в Земле Израилевой.

Потом он долго плакался. Любимая партия трудящихся, его любимая «Авода», которая несет «шалом» нам, «русским», теряет свой авторитет. Нас любят, о нас пекутся, но, судя по выступлениям в русских газетах, мы будем голосовать за «правых».

– Как же так... – плакал Разбойничек, – мы ведь все делаем для вас, олим, новых репатриантов! Страна маленькая. Международная напряженность. А «русские» – либо правые, либо, не дай Бог! – начнут строить свою этнографическую партию, где такое видано, разве вас пригласили сюда, чтобы разрушать?

Между тем красавица бросила сигарету и смотрела на меня в упор влажными глазами, точно впервые увидела лицо своего собеседника. И мне представилось, что мы с ней живем в доисторическую эпоху и сам вопрос: «Сколько времени ты живешь в Израиле?» приобретает некое символическое значение. Да, да, конечно же, я здесь родился, только то была эпоха, когда человек едва начинал свое прямохождение и пересматривал традиционные для животных спо-

собы совокупления. Самка, повернутая к самцу задом, знала нечто краткое, грубое и в высшей степени функциональное. И вот партнеры, наконец, повернулись друг к другу лицом. И оба стали приобретать некий недоступный им ранее чувственный опыт.

Не отрываясь, смотрели мы друг на друга...

Я включил музыку – медленное танго. И пригласил ее. И она прямо таки рухнула на меня всем телом. Пока Разбойничек, уткнувшись в газету, пил свой кофе, мы, потомки рамапитеков, соблазняли друг друга, и я представил себе, как она, милая шимпанзе, совокупляется с несколькими самцами и не связана ни с одним из них больше, чем с другими. Совсем в духе времени. Того, разумеется. И мне, такому же шимпанзе или гиббону, уже не хотелось удовлетворяться только одной самкой...

– Ну, что ты скажешь, я просто плакать готов, оттого что моя любимая партия теряет свой авторитет... И мой любимый генерал, добрейшая душа Ицхак, подвергается прямо-таки освистанию. О, неблагодарный жестоковыйный народ!

По тому, как моя партнерша ускорила свои движения, я понял, что наша жизнь, жизнь первобытных людей, была подвижной и динамичной и не столько из-за предпочтений, сколько по необходимости...

Он поднялся, бесцеремонно прошелся по комнате, включил телевизор.

Она прижалась ко мне так, что дальше мог быть уже только процесс диффузии – друг в друга.

И вдруг... Я увидел его растерянное лицо. «Ага! Ревнуешь... – подумал я, ощущая даже некоторое удовольствие. – А конкуренция? И, главное, без уставного капитала... Только то, что дала природа... Вот она взяла мою руку и зажала ее между своими ляжками...»

Но глаз его вдруг как-то сощурился, точно он глядел в замочную скважину. Я повернул ее вокруг себя, и моя комната сразу наполнилась какими-то растерянными лицами, какими-то обрывками фраз, мечущимися теньями. Я понял, что на экране происходило нечто из ряда вон выходящее.

– Что с тобой, Моти? Что случилось?

– На Рабина покушались...

Араб? Еврей? Новый репатриант?

– Нет, нет, он не ранен...

На втором канале только и делали, что разводили руками.

Я отстранил даму. Она села на краешек дивана, закурила и молча уставилась в экран. Переключил канал.

На первом канале знали больше. Показали площадку перед приемным покоем больницы «Ихилов».

– Ты прав, Моти, он не ранен... Он убит...

И вдруг Моти разразился гомерическим смехом. Он хлопал в ладоши, бил себя по выпученному животу, он довольно потирал руки:

– Победа! – крикнул он и бросился к телефону.

Потом показали многократно оттесняемого к стене убийцу.

Потом выступление Рабина перед выстрелом, но уже какое-то потустороннее...

«Слава Богу, не «русский», не репатриант, – думал я. – Слава Богу... Такое счастье *нам* привалило...»

А Моти, уже оправившись от потрясения, диктовал с моего телефона в свою газету:

– Кровь Рабина на руках лидеров оппозиции, и да падет она на их головы! Биби Нетаниягу – убийца! Смерть – поселенцам! Все правые – виноваты... Да, да... Главное – жесткий прессинг... Правая партия Ликуд, потворствовала убийству Ицхака Рабина... Ну а что, вы прикажите менять строй? Эти выстрелы преградят Ликуду путь к власти... Бэседер... Бэседер... Еду в больницу «Ихилов»...

Он бросился к двери, но вдруг вспомнил о жене. Она по-прежнему молча курила и не собиралась разделять восторгов мужа.

«Что теперь будет? – думал я. – Уйдет под воду Атлантида? Израильский материк изменит свои скромные очертания? Взрыв в мировой истории, региональная драма?»

– Я хочу спать – сказала она и зевнула. – Я не хочу ехать в больницу.

– Бэседер. Поедем в «Ихилув», а потом домой... Бай... – махнул он мне рукой... – Можешь рассчитывать на место сторожа в одной из газет... Такой подарок!

Я кивнул: Спасибо, что не в тюрьме. А что если этот «Цальмон» вообще строили с дальним прицелом?

Какая-то странная ночь. И эта вынимающая душу тишина...

Дверь вдруг открылась, и показалось улыбающееся лицо Моти:

– Запомни, друг, Рабин теперь – вечно живой...

Но я ничего не слышал. Я думал, что народ Моисея возвращается к своему прошлому. Еврейский народ из всех зол всегда выбирает большее. А вдруг разверзнется пропасть иудейской войны?

... Утром показали заплаканные глаза президента США Клинтона.

«Возможно, они родственники...» – подумал я.

По радио РЭКА уже выступили скорбящие. Простуженным, полным гнева голосом свидетель рассказывал: «Обслужив стоящего перед ней клиента, банковская служащая спросила: «Кто следующий?» Из очереди раздалось: «Шимон Перес». И тут в немой тишине прозвучало: «Кто сказал?» Двери банка тут же закрылись. На место происшествия вызвали полицию. Насмерть перепуганный остряк был препровожден в полицейский участок...

Диктор предоставил слово другому слушателю со стихами о Рабине. Число родственников покойного премьер-министра все увеличивалось, в особенности, когда камера останавливалась на улицах и площадях, нечто вроде пикника, но со свечами или с плачем...

Вообще же все было по правилам.

Объявлен двухдневный национальный траур. Приспущены государственные флаги. Определили, что траурная процессия 6 ноября выйдет из Кнессета ровно в полдень. Ицхак Рабин будет похоронен на горе Герцля в Иерусалиме в соответствии с полным военным церемониалом. В момент похорон во всех городах прозвучит двухминутная траурная сирена. Правительство приняло решение: автобусы компании «Эгед», следующие в Иерусалим, будут перевозить пассажиров бесплатно.

О своем намерении прибыть на похороны Ицхака Рабина сообщили президенты и главы правительств многих стран. Муниципалитет Иерусалима готовится к приезду в город десятков тысяч людей. Задействованы дополнительные телефонные линии справочной службы муниципалитета.

На улицах города установлены цистерны с питьевой водой и передвижные туалеты...

Ицхак Рабин... Первый премьер-министр – уроженец страны. Первый политик, ставший дважды главой правительства Израиля. Первый лидер, ставший жертвой политического убийства. Первый, кто заговорил о мире...

Выходить из дому не хотелось.

Неожиданно позвонил Моти:

– Ну, что я тебе сказал? На улицах все плачут. Море молодежи. Море свечей...

Я вспомнил, что в нагрудном кармане премьера найден листок с текстом песни о мире. Весь, как и положено, в крови. Все красиво. Будто бы готовили, как церемонию открытия новой тюрьмы «Цальмон». «Это мой самый счастливый день, – сказал Рабин бывшему мэру Тель-Авива Шломо Лахату, по прозвищу Чича. – Самый счастливый...»

Я молчал.

– Запомни, в этой стране все меняется в одну секунду... Вчера правые уже почти одолели нас. И вот, пожалуйста, где, с какой стороны теперь качели?

– А вдруг качели качнутся в другую сторону?

– Нет, теперь уже нет. Запомни, это надолго... Шалом, друг...

И он радостно засмеялся.

– Да... Новый анекдот знаешь? Если Переса убьют на площади Рабина, как назовут площадь?» И выждав мгновение, членораздельно произнес: «Площадь Царей Израилевых». – И снова стал хохотать. От его смеха, кажется, дрожала трубка. Дрожание высекало искры, и я вдруг увидел через стекло, как края неба заалели, точно от далекого пожара. Где-то далеко занялось пламя у пределов пустыни и кидало в глубь ее тихие красноватые отблески. Пламя все росло и все ярче становилось оно по краям неба, и огненным кольцом охватило оно пустыню, становилось багрянее и жарче. Я видел, как перед лицом огненного неба простиралась пустыня...

– Ну, – не успокаивался Моте, – за кого ты будешь теперь голосовать? Так я тебе скажу: голосуй за Переса...

– Почему?

– Чтоб все взорвались!

И он снова расхохотался.

А через полчаса позвонила Она.

– Ты смотришь телевизор?

– Да, но вижу только тебя...

В трубке хихикнули. Потом с надеждой замолчали. Других слов у меня в запасе не было, и о чем с ней говорить – я не знал. Что-то начал лепетать про траур и тут же вспомнил хамский анекдот про «медленно и печально»...

– Хорошо – сказала она. – О'кей. Будет хорошо...

– Когда? – спросил я.

И она серьезно ответила:

– После праздников...

– Каких праздников? – закричал я. – Разве похороны премьер-министра – праздник?

Но она уже положила трубку.

На экране телевизора крупным планом показывали горящую свечу. Пламя колыхалось и размягчало воск.

Загудела сирена.

Часы показывали два.

Глаза мои слипались от бесконечного свечения телевизора.

Толпа короновала мертвого царя Ицхака.

3

У меня неудачи, безработица, сплошное безденежье, хворь. В довершение куда-то сгинула третья или четвертая жена. И если с последним меня можно только поздравить, то все предыдущее вызывает острое злорадство некоторой части еврейской общественности: «Неудачи? Болезнь сердца? И ни одного шекеля?... Как говорится, так и надо... Наша взяла...»

Но до того была зависть: вот ведь, не пропал в свои пятьдесят с хвостиком на Святой земле, а еще начеркал да издал роман на денежки Рабина, да с его предисловием и пожеланием добра. Не Рабина? Заместителя мэра города? Какая разница – они же все заодно! И, видимо, отхватил кучу денег! Ассимилированный человек, Человек Вселенной, возможно даже не еврей – за что же ему (то есть мне) такое?

Ах, не платят гонорар? Все-таки есть Бог... Нашими молитвами...

Новая жена? Это же новая партнерша по бизнесу! Хотят делать «Эротическую газету», слышали?! Неужели он уже знает все? И она?

Вашими, вашими, молитвами, не чужими, успокойтесь. Она ушла за материалом для свежего номера и, как с фронта, не вернулась...

Впрочем, я уступил ее. Уступил уже после того, как простил ей артиста, ночного сторожа, строительного подрядчика и фотокорреспондента известной газеты. Вашими молитвами Фаня Исааковна Кац. Вы первая стали молиться...

Что правда, моя партнерша любила раздеваться...

Раньше вы поклонялись артистам. В вашей коллекции были сотни открыток киноактеров всех стран мира, вы их ежедневно передвигали с места на место, так что кто-то прозвал вас Режиссером. Главное, говорили вы, найти для них правильную мизансцену. Вы хоть знаете, что означает это слово?

Вашими молитвами, Стелла Исааковна Кац-младшая, вашими. Помните, я был в пятом послевоенном классе, когда вы пришли впервые училкой немецкого языка в нашу школу. Немецкий мы ненавидели: слишком хорошо помнили, как звучал этот язык из уст Гитлера в советских кинофильмах. А ваше любимое занятие – читать нам мораль: «курить – плохо, за девчонками стрелять – плохо...». Немецкому вы нас так и не обучили – кишка тонка, зато мораль мы запомнили, чтоб делать все наоборот: например, курить, вот и моя третья или четвертая жена – тоже из той оперы. Наша любимая игра в классе – ездить на партах. Мы окружили вас, полную неумеху, партами и кричали: «Целка Исааковна, Целка Исааковна!» У нас даже игра такая была: кто сидел на первой парте, должен был постоянно ронять ручку и нагибаться за ней. Конечно, это был повод заглянуть вам под юбку и определить в трусиках вы сегодня или нет. Глупые мальчишки, но надо ж было как-то мстить за ваши пуританские замашки. Да, кажется, вы так замуж и не вышли? Неужто, все еще в девицах? Ну-ка, погодите, только подниму ручку с пола...

Все правильно, недаром говорят, что целомудрие – самое неестественное из всех сексуальных извращений.

«Разве имеет право он, многоженец, выступать по радио и говорить о любви? И ведь Петрарку читал, негодник... Это зацелованными-то устами...» – это вы, Стелла Исааковна, написали заведующей редакции радио, и заведующая, боясь за свое тепленькое местечко, сказала мне: «Ах, извините... У нас все надо делать чистыми руками». Уверен, что она имела ввиду совсем другой орган...

Кто сказал, что в нашем Израиле не стучат?: «Доброволец, который сообщит налоговому управлению о человеке, который уклоняется от уплаты налогов, получит 10 % суммы налога, подлежащей оплате»...

За стиль редакция, как положено, ответственности не несет. Вот, племянш академика, например, в ответ на мою статейку, что академик на своих холстах вылизывал сапожки товарища Сталина, самолично позвонил, не поспешил истратить шекель на разговор и хорошо поставленным голосом отрубил: «У меня на руках справка, что мой дядя никогда, вы слышите, НИКОГДА! не писал портретов этого негодяя, этого мерзавца. («Хватит экспрессии, – прерываю я, – нас, кажется, никто не подслушивает»). Но он успел размножить справку в невиданном количестве экземпляров, направил ее в редакции всех газет, даже в «Биржевые ведомости», всем практикующим и уже выучившимся адвокатам, всем судьям и в канцеляриях Президента и премьер-министра их подшили в каждом отделе...

– Бросай, старик, трогать академиков, – всполошился редактор, – главный наш уже морщится... Да и Ленина не тронь... Вот Фаня Исааковна из Хайфы указала на твой антисоветизм... А тут как раз Кравчук, президент Украины приехал. Стоял в кипе у Стены Плача. Мог же, право, обидеться... Или другая Стелла Исааковна опять же из Хайфы намекает: обижал ты евреев, обижал, говорил, некрасиво евреи с матушкой-то Россией поступили – поматросили и бросили... И даже родные могилы побросали... Бабий Яр, например... Теперь говорят: не было ни Дробицкого, ни Бабьего Яра, НЕ БЫЛО, и помину не было. Просто рейху нужно было золото. Немцы отняли золото у евреев, а их посадили в вагоны и отправили неизвестно куда, так что неплохо бы выяснить судьбу увезенных... Послушай, старик, выпьем кофе – сегодня, помнится, ты платишь... и свожу я тебя горемычного на хор ветеранов. Это, я тебе скажу, искусство...

Уговорил все-таки.

Пошли.

Кошмарно одетые в какую-то розовую муть десятка три ветеранов, заглядывая в папочки со словами, спели несколько песен на иврите и идиш. Мне показалось, пели они складно, ну может быть, раза два кто-то из хористов пустил петуха. А так – ничего, только подлинности не хватало, души. Как будто бы их пустили по ведомству интернационального воспитания. Но вдруг, неожиданно для всех, под самый финал, артисты выложили «золотой» запас. Запели песню, которая в свое время заполонила эфир, клубные сцены, филармонические подмостки: «Встанем как один, скажем: не дадим! Будем мир беречь...»

И как подлинно всё вдруг зазвучало! Лица артистов преобразились. Никакой расхлябанности. Полная слитность и единение. Строгие, даже суровые лица. В голосе – металл... Я чувствовал, как губы мои шевелятся: «Не бывать войне-пожару, не пылать земному шару. Наша воля тверже, чем гранит...»

«Тверже, тверже!» – шевелилось в подкорке. Вот говорили: «разъединенность», на двух евреев – три мнения, на пятерых – семь организаций, «русские евреи – никогда не объединятся!» Какое там! Одно целое! И главное, искусство по-прежнему шло впереди. А за ними – областное управление культуры, министерство культуры, отдел агитации и пропаганды ЦК КПСС и... конвоиры...

Песню проводили шквалом аплодисментов. Рядом со мной сидела какая-то дама. Она плакала на одной ноте, то и дело всхлипывая. И я почувствовал, что на сердце стало вроде бы как-то мокро...

А на сцене все вдруг заулыбались. И я улыбнулся. И заплодировал: сейчас зайдут после концерта в магазин, купить что-нибудь на ужин, а там все есть!

Вечером звонил мне Рыжий Математик из Кирьят-Оно. Вообще-то мы его называли Тухлая Рыба. Жена его покупала на базаре всякие рыбы отбросы и после скармливала их Рыжему...

– Совсем, ошалел ты. Людей хаешь... Владимира Ильича, Клемента Ефремовича... Оку-то Городовикова, зачем ославил? Известно – Ока Иванович – не ума палата. И большое ведро не выпьет...

– Ну да... Разве что, отопьет много... Жаль, умер... – прерываю я.

– Вот и я выпил бы за его здоровье...

А что? Провозгласил же Иосиф Виссарионович на выпуске военной Академии в тридцатом году тост за здоровье Ленина...

– А Израиль, родину-отечество, зачем ругаешь? Бюрократия тебе не нравится? Всеобщее воровство и хамство? Признайся, ты ведь и там *нас* недолюбливал... Разве не ты говорил: «Еврейство лишено космоса природы». Какую еще природу тебе надо было? Или вот «евреи – навязали России свои понятия. Создали талмуд-идеологию – марксизм-ленинизм, который, якобы, воспрепятствовал созданию гражданского общества. Опять же овладели Россией, обесчестили и побежали...» Не ты говорил? Не ты нас обижал?

– Кого *нас*? – всполошился я, прикидывая, в какую инстанцию напишет Рыжий Математик. Впрочем, я не видел Математика с тех пор, как он уехал на Святую землю. Наверное, я несправедлив. И он уже давно седой, а не рыжий. Просто от его волос зажегся огонь в нашем классе, где он преподавал, как и Стелла Исааковна, вел математику. Да и дружили они какое-то время. Зная страсть рыжих, очень сомневаюсь, что наша Стелла Исааковна осталась... ну как бы это поделикатнее сказать... Ладно, не буду наклоняться за ручкой и делать лишних движений...

– Ты что, притворяешься, не помнишь, что? Написал романище об «израильском рае»?

– Извини, – обиделся я. – Никакого романа не писал. Мой любимый жанр эссе... Это от Бога... А роман – не мое, нет, я бегаю на короткие дистанции... Да, между прочим, ты живешь в собственной квартире? – снова прервал я его.

– Ха! Вспомни о привязке машканты к индексу... – уныло купился он.

– Работаешь?

– С моим-то счастьем...

– И твоя супруга еще не родила? Вы ведь всем уши прожужжали, что на Святой земле непременно случится чудо...

– В ее возрасте...

– Ну Сарра и Авраам были постарше...

В трубке молчок.

– Но с нашим Израилем ты брось шутить, – строго замечает он. – И вообще, в твоей последней статье о Шестидневной войне перепутана дата... Мы израильтяне, этого не любим...

– Какие уж шутки! Просто те эсешки не надо было отдавать в советский журнал...

– Да... Там было такое...

– Что неправда? Про Троцкого – неправда? Или про Свердлова и Урицкого? Или про дядюшку твоего Эльсберга, красного литератора? Настучал на поэта Годовича, а потом встретил его после ссылки на вокзале с букетом роз?

В трубке молчок. Наконец, всхлип:

– У меня справка есть...

– И у тебя справка? – испугался я.

– Дядюшка от меня отказался... Или я от дядюшки... Уже и не помню... В чем дело, старик, я всегда защищал тебя, говорил: «Фиолетовый, наивный мальчик...».

– Ты говорил... голубой... Чтоб срок пришить...

– Мне простительно, я дальтоник...

– Конечно, видели только один цвет – красный... А эссе надо было отдать на радио «Свобода», либо на «Голос Америки»... Либо, на крайний случай, предложить «Голосу Израиля»... Вот тогда все про меня говорили бы: «Диссидент, диссидент...».

– Вот это напрасно, в «Голос Израиля» не вздумай, они суки...

И тут его прорвало. Он говорил о своем несчастном житье-бытье в вагончике, на краю города Беэр-Шевы, где уже года два в ходу русские рубли, а шекели с загадочными надписями на иврите даже Нисим Азулай из магазинчика не берет – ну их... Несколько раз он запустил матерком в Арика Шарона... Он вспомнил недобрым словом *бюро по* трудоустройству: его, математика, определила на работу в археологическую партию, где он чуть не дал дуба. Он проклинал, на чем свет Институт национального страхования за бесконечные очереди, задержку пособия, и хамство охранника-марокканца... Только сейчас я узнал, что он ненавидел эфиопов (они, черные, от царицы Савской и царя Соломона, а у евреев, как известно, национальность по матери, а не по отцу). Какого черта Еврейское агентство тратит на них *его, Рыжего*, американские денежки, которые могли бы составил его, рыжего, счастье? Он ненавидел выходцев из Йемена, Ирака, Ирана, Сирии, Турции и завидовал американцам...

– Голаны не отдадим! – неожиданно рявкнул он и еще в течение получаса (говорил с хозяйского телефона) размышлял о внутривнутриполитическом состоянии страны, давая характеристики политическим деятелям от Давида Бен-Гуриона до Симхи Диница.

В общем, с «Голосом Израиля» все было ясно... Жаль, я перепутал дату ухода с поста главы Еврейского Агентства Симхи Диница, хотя точно помнил, что того «ушли» за воровство. Но дату все же перепутал, а мы, израильяне, как он правильно сказал, этого не любим...

– Смотри, – сказал он снова своим дребезжащим металлическим голосом. – Мы ведь доведем дело до конца... И Фаня и Стелла...

– До какого конца? – поинтересовался я.

– До смертного, конечно, до смертного.

Я поперхнулся. И почувствовал в горле ком. И сердце как-то сразу обмякло...

– Послушай, ну Стеллу ты хотя бы отлюбил? Хотя бы в отместку своей ведьме, за то, что она всю жизнь кормила тебя тухлой рыбой?

Я и не думал, что так озадачу его. Я понимал, что и без работы, и без жилья он унижен и оскорблен до крайности. Что он перестал быть мужчиной – кормильцем семьи, так хоть пусть будет самцом...

И он не выдержал, хвастанул:

– Конечно, разложил ее, беднягу... Намучился...

– Не может быть, – поразился я, – разве ты не знал, что она не была девственницей?

– Откуда ты знаешь?

– У нас с ней тоже были золотые денечки...

– Значит, и тут ты меня опередил, – сказал он обреченно.

Опередил и еще как! Я был на втором или третьем курсе института, когда мне надо было сделать какое-то задание на немецком языке, которое я никак не мог осилить. И тогда я вспомнил о нашей Стелле Исааковне, о нашей Целке. Я позвонил ей и попросил разрешения к ней прийти. И она как-то радостно и быстро согласилась. И когда я вошел к ней в дом и увидел ее полунагую, в каком-то подобии халатика, я даже не стал объяснять ей цель моего прихода, – какое там задание, когда ее груди просто вывалилась наружу. Я, ни слова не говоря, поднял ее на руки, отнес на диван и оседлал эту лошадку, которая на поверку оказалась вовсе не тихоней, она кусалась, стонала и, пожалуй, первая преподала мне уроки Камы Сутры, передвигая меня от зеркала к зеркалу. Лет шестнадцать разницы между нами только прибавили ей сил. Из немецкого я забыл даже то, что узнал на ее уроках... И ещё она смеялась надрывным смехом, а потом обнимала меня, клала рядом и шептала какие-то слова по-немецки. И я возненавидел ее из-за этих слов, потому что и она и ее сестра были малолетними узниками гетто, но постоянно возвращались к своему немецко-австрийскому прошлому, ахали и вздыхали о нем, и когда слышали, как разговаривают по-немецки, обе светились тихой радостью...

Переполненная страстью, она внушала ужас. Мне казалось – где то близко, рядом лают овчарки... И пропущен ток по колючей проволоке...

Занимаясь любовью, она оставляла на память ощущение случки со стреноженным зверем. Скорее всего, дело в ее духах, в которых было что-то хорошо просчитанное и греховное, легкий намек на святость и горячий запах звериного загона.

Однажды она разделась и, переполненная чувствами, позвала:

– Иди ко мне...

И закрыла глаза. А я тихо направился к двери. Поплыл против течения: тяжелого потока большого и отравленного пламени, которое вытекало из нее и охватывало меня.

А потом узнал, что она прочла мои рассказы и, будто бы, узнав в одном из персонажей себя, кричала: «Подонок, разве он не знает, что все евреи братья?»

Ну, уж, это она загнула, братом и сестрой мы с ней не были. Стал бы я заниматься кровосмешением!

Они с сестрой донимали меня, как могли анонимными письмами и звонками на работу, в редакции газет и журналов и, говорят, сильно обрадовались, когда узнали, что я приезжаю в Израиль. И впрямь, как же они могли быть здесь без меня, если я давал им не только работу, но и смысл существования.

А вот известный писатель, звонит по два раза в день:

– Читал твою статью о «русской» партии... Ну, ты даешь! Зачем тебе это «гетто»? Это деление по этническому принципу, мы должны быть едины, как никогда... В такой момент... Ты представляешь, что будет, если отдадут Голаны? И вообще, зачем вы хотите строить здесь Бенилюкс? Это же не Египет. Войдешь туда и не вернешься! Да! В такой момент... Наша земля создана для чего-то большего... Вот приеду с Кацрина...

– Что-то ты в Кацрин зачастил, а?

– Обожаю эти места... Сейчас я на службе, а после – прямо туда... Жена хочет купить домик...

– У тебя уже есть два... И все в любимых местах... Невозможно жить во всех любимых местах сразу...

– Ты рассуждаешь как типичный «совок»... На два вопроса в свободном мире никогда не отвечают: где я хочу жить и с кем... Перезвони вечером поговорим на эту тему... Так я о партии... Ты что, не знаешь, кто такой Щаранский? Ах, хочешь другую партию? – Длинный гудок. Видимо, появился начальник. Ну, конечно, он имеет три дома, но из дому не звонит никогда, только с рабочего телефона. Часами. Или: «перезвони вечером...» А вдруг, действительно отдадут Голаны? Представляете, какую компенсацию он получит, если даже купит там какую-нибудь развалюху? Вот тебе и любимые места! Зачем ему нужна «русская» партия? Главное, чтоб ничего не менять. Да! В такой момент всякая вещь – улика... Впрочем, пусть живет. И будем относиться к этому философски...

Зрение мое слабеет.

Голоса смолкают.

Хорье прохаживается взад и вперед, точно по сцене, сейчас, сейчас начнут новое действие. Все живут до ста двадцати, так что драма, считай, многоактная...

Глаза хористов полузакрыты. То ли спят, то ли размечтались... Им грезятся руки-обрубки. Виселица. Газовые камеры. И все роскошество – исключительно для меня, любимого... Ясновидение определяет творчество...

Дирижер взмахнул палочкой:

– По Африке бродила большая кррракадила!

– Она! Она голодная была! – подхватил хор.

А потом гроб засыпали желтоватой и каменистой родной землей.

Стелла Исааковна, дама, покрашенная отваливающейся от щек линиялой краской, возвышалась статуей над маленьким, едва живым мертвецом, некогда Рыжим, а теперь бритоголовым Математиком. Несколько поодаль стояла оставшаяся без работы Фаня Исааковна, скрепив на груди тоскливые, нервные руки.

Они были печальны, как ночные страшные бабочки.

4

Мамина сестра, тётя Женя бьется головой о стены.

Так он ищет правильный путь. Она никогда не зажигает свет – экономит электричество. Казалось бы, проще простого – хотя бы палкой найти дверной проем. Конечно, проще простого – если тебе не девяносто. Она пробует головой стены и так ищет дверь в туалет, на кухню, в мою комнату.

Это единственный близкий, дорогой человек. Она меня и воспитала. Она поехала со мной в Израиль, думая, что это Украина или Белоруссия, ну уж, по крайности Москва, где можно хотя бы наблюдать, не вынесут ли ненароком Ленина из Мавзолея. В последний раз в Москве она была лет пятьдесят тому. После ухода на пенсию (более четверти века назад), не летала на самолетах, не ездила на поездах, да и из дому выходила редко. Она читала и читала газеты, что-то подчеркивала, что-то выписывала. По телевидению – только программу «Время». По радио – только «Последние известия» и «Новости». Перестройка оглушила ее. Ей показалось, что не то Колчак, не то Петлюра, не то Гитлер все-таки взяли Москву. Каждую газетную статью против Ленина она воспринимала как личный выпад. После каждой бранной статьи о партии – пила валерьянку. Когда я ей сказал, что нет уже ни Советского Союза, ни партии – она раскрыла большие глаза и долго молча печально глядела на меня.

– Да, – философски заметила она. – Я знала, что может быть еще хуже...

Она как в воду смотрела. После смерти моей матери, её сестры, которую сбила на тротуаре машина, осознав всю ответственность за меня – детей у неё не было – она всю себя отдала мне, моей школе, институту, профессии. Для неё существовал только я. Но с годами она забыла мое имя, а стала называть меня невнятным словом, в котором мне все время чудились какие-то звуки, нечто вроде «Б...Л...Г...» Возможно, «белогвардеец». Или, как сказал умничка Ерофеев, «дебилогвардеец». Вообще, она как-то сразу забыла все имена. Мужа своего, известного художника, погибшего в войну, имя горячо любимой сестры, которую однажды сбил автомобиль, и с того времени Женя стала странно заикаться «Б...Л...Г...» Она начисто забыла имена моих жен (и правда, чтобы их запомнить – надо обладать незаурядной памятью), имя моей дочери, сына. Она только помнила, что племянники ее должны быть в Израиле (их, скорее всего, увезли мои жены) и что она не может умереть, не увидав их. И хотя внуков у нее никогда не было, как и у меня детей, она стала проситься в Израиль, сильно подозревая, что Израиль – просто пригород Киева или Минска, в крайнем случае, Москвы...

И вот однажды, после трех десятков лет перерыва, я посадил ее в поезд. Поскольку одно купе освободили под вещи, другое было переполнено. Было душно и полутемно. Мы ехали на Бухарест. Уже через два часа езды зашли таможенники, а потом пограничники. И Женя прижала к рукам чемоданчик: в нем кроме партийного билета и почетных грамот, которые она получила за хорошую работу в музыкальной школе (педагог по классу балалайки), ровным счетом ничего не было. Но и таможенники, и пограничники смотрели только на этот чемоданчик. Один из них неловко пнул старуху, она ойкнула, чемоданчик рассыпался, и выпорхнули оттуда почетные государственные награды, старые фотографии, оставшийся от мужа рисунок – ее портрет, карандашный набросок да партбилет в корочках, на который парень не обратил никакого внимания, иначе б потребовал компенсацию за перевоз документов...

Потом были таможенники с румынской стороны, тех быстро утихомирили: с каждого пассажира собрали по бутылке водки на румынского брата. Уже в Бухаресте Женю посадили на тележку поверх чужих чемоданов и повезли по платформе тоже как вещь, но уже совсем лишнюю, незастрахованную, за потерю которой отвечать не придется, так что рабочий при погрузке буркнул что-то вроде: «Перегруз». И ему пришлось дать бутылку...

Поселились мы в специально отведенной для репатриантов гостинице. Мы с Женей в одном номере. Там-то она впервые и стала опробовать головой стены. Поднималась ночью и стучала...

Потом спрашивала меня:

– Это Киев? Тогда надо звонить Михаилу.

Михаил – это ее двоюродный брат в Киеве, давно выехавший в Америку. Про то, что он уехал Женя, конечно, забыла, а про то, что жил в Киеве, помнила...

По случаю первомайских праздников не было самолета, и Женя трое суток билась по ночам головой о стены. С самолетом же было и того хуже. Еле втащил. Потом, когда стали раздавать обед, она даже не притронулась:

– Одно из двух, – сказала, – либо отравлено, либо платить надо золотом...

Другой валюты Женя не знала.

А все началось со страха.

Где-то в году 1937–1938 её муж, художник, находился на действительной службе в армии в звании офицера и в качестве начальника клуба. Старший и младший комсостав, как известно, в те годы был репрессирован почти поголовно. И Женя, тогда молоденькая преподавательница музыки в том же клубе, ежедневно ждала стука в дверь. Ей и до сих пор кажется, что вот сейчас возле дома притормозит машина, раздастся лай собаки, чьи-то шаги...

– Кто, кто там?

– Да никого, Женя...

Черт бы взял эту машину, этот скрип шагов, эти пьяные голоса.

Стук в окно. Стук в дверь. По праздникам. Под выходной. От страха Женя потеряла чувство смерти. Умер ее отец, мой дед, – слезинки не проронила, точно радовалась, что умер своей смертью...

Потом началась война. Муж пропал без вести на фронте в сорок первом, а бумага пришла только весной сорок третьего. И она все это время боялась: либо его убьют, либо арестуют. После сорок третьего года стала бояться пуше – а вдруг как к пропавшему без вести к нему и приступят, дескать, изменник Родины, а что еще хуже, приступят к семье, к племяннику, то есть ко мне. Бумага с печатью казалась ей непонятной, а особенно подозрительной подпись. Она даже в военкомат за пособием сразу не пошла, а только потом, когда вызвали... И в сорок третьем, получив бумагу, тоже не плакала. Сказала: отмучились. Было не понятно, кто отмучился, муж ли, она ли, а может быть, все вместе.

Некогда выше среднего роста, красивая, она вдруг сделалась маленькой, сморщенной старушкой и так, уже не меняясь, дожила до девяноста лет.

– Думаете, зажились? Я пересчитать, проверить должна, всех ли уберегла, всех ли сохранила?

При всем при этом она фанатично верила в «правое дело» коммунизма. Была уверена, что кто-то извратил идею.

Помню, еще в конце войны, когда мы приехали из эвакуации в игрушечный, чистенький австрийско-немецко-еврейский городок в Северной Буковине, я спросил Женю:

– Мы евреи?

– Мы советские, – сказала она громко, а все последующее про евреев – только шепотом, – советская власть вывела евреев на космический уровень, из черты оседлости – прямо в граждане мира. И мы должны быть вечно признательны за этот скачок, за это приобщение к мировой культуре, когда язык уже не имеет значения, лучше, конечно, русский, самый красивый, самый богатый, (потому и стал международным) самый великий в мире.

– А украинский? – не сдавался я, – Мы родились и выросли на Украине...

– Да... Украинские песни очень красивые... Вообще, у тебя, сын, большая путаница в голове... Жаль, нет мужа... Он бы тебе разъяснил...

– Я разыщу его, Женя, я разыщу его, где бы он ни был. Я разыщу его под землей, но узнаю, что значит «пропал без вести». Может быть, он был в плену и сейчас где-нибудь в Америке...

– Тише! – крикнула она. И присела, точно у нее враз отнялись ноги. И побледнела так, что я стал оглядываться: куда это вытекла вся кровь из нее. – Никогда не говори об этом. Ничего не ищи. Молчи, молчи, молчи... Ты слышишь, я заклинаю тебя, молчи...

И тут она успокоилась. И даже сделала попытку улыбнуться. Одними губами:

– Ты лучше присмотришься к Владимиру Ильичу Ленину. Если нам чего-то и не хватает, так Ленина... Владимира Ильича...

Теперь, спустя годы, я вспоминаю, что не раз слышал эту фразу: «присмотреться к Ленину» – и слышал из уст, куда более компетентных, чем мамыны...

И я стал присматриваться. Вот он ведет заседание Совнаркома. Выступающих, как всегда, почти не слушает. Перебивает, нервничает, какое решение принять – не знает, а советоваться не с кем. Вровень ему – никого...

Вот поднялся. Прошелся, точнее, пролетел по кабинету. Вошел Дзержинский. Ленин морщится: «Этот и приходит, и уходит, когда вздумается. Еще ни разу не досидел до конца заседания».

Дзержинский в грязной гимнастерке. Сапоги давно не чищены. Ленин брезгливо оглядывает его с ног до головы...

– Что на повестке дня? – неожиданно кричит Дзержинский.

– Повестка дня перед вами, Феликс Эдмундович...

Секретарь Ленина Фотиева поднялась и услужливо пододвинула бумагу Дзержинскому.

Ленин садится. Подбирает на столе клочок бумаги, быстрым росчерком с сильным нажимом пишет: «Феликс Эдмундович! Сколько у нас в тюрьмах злостных контрреволюционеров?»

Дзержинский уставился в потолок. Точной цифры ни он, ни подчиненные не знают. Сажают за решетку, кого попало, расстреливают без суда и следствия.

Дзержинский взял ручку и твердым почерком вывел: «Около 1500». Ленин ухмыльнулся, перебил очередного оратора. Потом его самого перебил Феликс Эдмундович. Ленин поставил возле цифры крестик и передал записку Дзержинскому обратно. Дзержинский смотрит на бумажку. Потом впивается взглядом в Луначарского. Долго не отводит неподвижного взгляда. Луначарский кашляет, странно дергается на стуле...

Наконец Феликс Эдмундович поднимается. Высокий, худой, похож на Дон-Кихота. Только глаза неподвижные, стеклянные...

Той же ночью «около 1500 злостных революционеров» расстреляли.

Лидия Александровна Фотиева пожимала плечами:

– Произошло недоразумение. Владимир Ильич вовсе не хотел расстрела. Дзержинский его не понял. Наш вождь обычно ставит на записках крестик в знак того, что он прочел ее и принял к сведению.

На следующий день заседание Совнаркома начали на десять минут позже. Дзержинский снова опоздал. Ленин пошутил:

– Ввести расстрел за недисциплинированность...

Помню, в шестидесятых годах собрали со всей страны актеров, исполняющих роль Ленина, на специальный семинар. Человек триста съехались. То были, каждый в своем городе, люди знатные, проверенные, с хорошими анкетными данными. Непрофессионалам роль Владимира Ильича исполнять было нельзя. Если рисуешь картину с изображением вождя или нетленный скульптурный образ ваяешь – разрешение давала республика. Все здесь было выверено. Во всем порядок. После исполнения роли Ленина актер со спокойной совестью мог ожидать звания. Заслуженный артист станет народным – это уж как пить дать...

Был у таких актеров и свой приработок. Например, массовые представления на стадионах к памятной дате. Ленин, как правило, выезжал на броневике, указывая рукой нужное направление.

В одном из южных городов подготовили и пушечку, которая должна была пальнуть, имитируя крейсер «Аврора». Конечно, для областного начальства изготовить крейсер, и броневичок, и пушечку – это всего только дать указание директору завода, который даже не выматерится от такого задания. Еще бы, честь! Сделают так, что при пальбе у самого Картера в Белом доме стекла в окнах посыплются...

Ночью пошел дождь. Не прикрытая брезентом «Аврора», оставленная на бровке поля, отсырела. И когда мой товарищ Исайка Кацман, режиссер, отдал приказ: «Пли!», бесхозная пушечка странно возгордилась и не то чтоб пальнула, а как-то придурковато фыркнула, отчего прощелыга на одной из трибун выкрикнул: «Так и было!»

Стадион покатывался со смеху. Прямо корчились на трибунах. Только в центральной ложе помалкивали. Как могли, отвлекали Первого, хотя все уже знали, что песенка моего друга Исайки Кацмана спета. Песенку же начальника управления культуры пока репетировали прямо в центральной ложе. Все зависело от того, узнают ли о конфузе в ЦК или нет...

И только «Владимир Ильич» спас дело. Его встретили громовыми аплодисментами, ибо в бой ему, бедолаге, пришлось идти все же без артподготовки. Длань его, казалось, распростерлась не только над всем стадионом – над всей планетой. Поворачиваясь к трибунам, он выглядел то бронзовым, то гранитным, то будто бы из мрамора, и с каждой минутой смех потихоньку стихал...

Мы стояли в кулуарах «ленинского семинара» и «Владимир Ильич» ужасно гордился, рассказывая про свою потешку. А вокруг стояли исполнители роли вождя. Смеялись. Кто-то даже отважился на анекдотец о вожде мирового пролетариата, но тут в зал вошел сначала Выдающийся Исполнитель роли Ленина – сначала из прославленного московского театра, потом из прославленного ленинградского. И участники семинара, исполнители роли вождя, видимо, скумекав об истинной своей миссии, вдруг подтянулись, заважничали...

Председательствующий, оглядев зал, неожиданно сказал:

– А Гамлет не в каждом театре есть...

Фразу ему долго не могли простить...

А на трибуну уже поднимался Главный Ленинский Драматург. Его, этого драматурга, прозвали «Крупская с нами!». Он выглядел уставшим, и все знали, что он потерял много сил в борьбе с чиновниками за углубление ленинского образа, его разнообразную трактовку и интеллектуальное решение.

И начал свою речь он гневно, с романтическим пафосом:

– Стучит в сердце пепел оболганной Сталиным Октябрьской революции!

Главный Ленинский Драматург был против образа Ленина, разрешенного Сталиным. Против эксплуатации любви и уважения к Ильичу. Оболганный, извращенный Ленин может вызвать отторжение. Но все же стоит присмотреться к образу Ильича, ибо сегодня «мало социализма, мало»...

Точно речь шла о мыле...

Ночью я лихорадочно листал полное (на самом деле сильно урезанное за счет компрометирующих вождя документов) собрание сочинений Владимира Ильича. Перед глазами мельтешили галстуки в крапинку. И это вызывало ненужные ассоциации. Но мне все же удалось сосредоточиться. И я, наконец, увидел Ленина. Он был непоседлив и взвинчен.

– Не понимаете? – недоумевал он.

– Как не понять?! Проще всего – бедным. Тем – некуда податься. Человек, униженный голодом и нищетой, будет делать все, что прикажут. Хуже с богатыми. Но и здесь есть вариант: сделать их бедными. Как?

У Ильича ответы наготове:

- Расстреливать, никого на спрашивая и не допуская идиотской волокиты...
- Будьте образцово-беспощадны!
- Надо поощрять энергию и массовость террора!

Даже не верится, что все это было напечатано! Не передано в суд в качестве обвинений против человечности! И что все это я читал да еще умилялся: надо, надо быть добрым! Надо гладить кошек! Надо.

Вы представляете, здоровался с людьми!

В дни болезни – не расставался с кепочкой даже в помещении. А на улице – завидит крестьянина или рабочего кланяется и быстро здоровой рукой снимает кепчонку. Неужто, каялся? Неужто, просил прощения? Он, видите ли, пришел в революцию за счастьем. Ему счастье нужно было для мирового пролетариата, а не личное счастье.

А может быть, и не каялся вовсе. Может быть, кепка возвращала его к тем временам, когда он был здоровым и сильным, кепка только соединяла его с братишками...

А тем временем известный актер делился опытом работы над образом Ленина. В аудитории царил умиление. Кто-то вытер платком слезы. Кто-то взялся за конспект...

– Как работал? Конечно же, чтение ленинских работ... Читал все, даже воспоминания врагов... – Смелость известного актера сразила аудиторию: читает самиздат? И не боится?.. Сказать такое... При всех... Ну, просто герценовские идеи из Лондона... Не хватает только тумана... – Еще рассматривал известные фотографии... в увеличительное стекло... И такой элементарный, казалось бы, чисто механический процесс привел меня к большим открытиям: я увидел ниточки обшарпанных рукавов на пиджаке, пуговицу, которая держится на честном слове...

Еще бы! Помню, занесла судьба на выставку «Фальсифицированные фотографии»: рядом с фотографиями, препарированными суровой рукой цензора, можно было увидеть реальное фото, с которого смотрели лики Троцкого, Зиновьева, Каменева, Бухарина, Рыкова. Увеличенные фрагменты фотографии выявили еще более забавные, нежели «пуговица, державшаяся на честном слове», нюансы: в одном месте ретушер оставил каблук от ботинка уже давно изъятого из жизни человека, в другом – какие-то странные пятна, которые при ближайшем рассмотрении оказывались частью шляпы. Чьи это следы? Что-то были за люди? Куда они исчезли? Вот Ленин, с кем-то живо переговаривающийся и вместе с тем... идущий один. Уж не имел ли вождь обыкновения разговаривать сам с собой?

Я тогда был в шоке. Я вдруг увидел воочию семидесятилетнюю историю страны, неумело смонтированную, варварски подретушированную – в стране всегда не хватало профессионалов...

Уже после «свержения» Хрущева в кинохронике о встрече первого космонавта вырезали... самого Хрущева. Юрий Гагарин шел по ковровой дорожке в пустоту, отдавая честь невидимому или, по крайней мере, сильно замаскированному объекту.

Ах, эта наша советская жизнь с ее мимолетными объятиями! Как сказал поэт: «...спасибо призмам мерзлого стекла, жизнь моя трюизмом чудным протекла...»

От бесконечных баталлий с Женей о Ленине, мне казалось, я становился не только агрессивнее, но глупее. К идеологическим спорам подключился Шломо Цуц – бывший майор в отставке, ныне кавалер израильской медали в честь пятидесятилетия Победы над фашизмом. В свои семьдесят лет здоровенный детина, он носил рубашку на выпуск, сандалии с гетрами, удлиненные шорты и непременно берет, который делал его схожим не то с французскими маки,

не то с израильскими десанниками. На рубашку он натягивал многочисленные орденские колодки, среди которых была медаль «За победу над фашистской Германией» – все остальные – юбилейные медали и значки.

Шломо Цуц был энтузиастом. С утра, после того, как он обходил близлежащие магазины, отчитывал их владельцев, листал свежий номер газеты и тут же под каким-нибудь предлогом (чаще всего возмущенный новой публикацией) возвращал его продавцу газет, он непременно заходил к матери слушать радио РЭКА. Собственно, радио РЭКА он мог слушать и у себя, но к матери он приходил, чтобы «реагировать». Он непременно должен был вклиниться в любую радиопередачу «за круглым столом» в качестве активного радиослушателя, сделать замечания и наставления по телефону за наш с мамой счет. Он прервал выступление по радио пресс-секретаря Сионистского форума и сказал, что в Форум «народ идет плохо потому, что название «сионистский» для советского человека равнозначен «фашистский» и название, по его мнению, надо срочно менять». На радиопередачу к празднику Пурим он откликнулся гневной отповедью ведущему:

– Заманили нас сюда, обокрали, а теперь рассказываете сказки? Неужели вы думаете, в них кто-то верит? Какая там Эстер? Какой там Ахашверон? Вы совесть имеете или нет?

Идя навстречу пятидесятилетию Победы, он успел обойти все инстанции в муниципалитете, намеренно говорил там по-русски – «пусть знают: без нашей победы на было бы государства Израиль, мы шли сюда под бело-голубыми знаменами не затем, чтоб сегодня мне подсунули сраное социальное жильё?» И, наконец, вырвал деньги на книжку «Подвиги евреев-иерусалимцев в Великой Отечественной войне». Правда три-четыре человека тут же позволили, что они участники войны и о них идет речь в этой книге, но по национальности они двое русских и один украинец и что негоже их, православных, зачислять в евреи! На что Шломо Цуц ответил простым русским словом в самом прямом смысле: «Пусть идут в жопу»...

Выступления его к грядущей Победе все набирали силу...

Уходил домой он обычно к приходу своей невестки, милейшей женщины с испуганными глазами, художницы, полотна которой я как-то видел на выставке в одной из галерей. Полотна были превосходные, тихие, сердечные, от них замирало сердце и сладко ныло под ложечкой. Казалось, она дает дышать сеном, травой, женщиной. Видет звезды, тучи, деревья, бедных одиноких людей. Это было серьезно, какой-то радостный плач о прекрасном и горестном мире, который так скоро приходится покинуть. Видимо, по этой причине (кругом-то ипохондрики) картины продавались плохо и она потихоньку убирала квартиры, работала нянечкой – осуществляла весь тот малый джентльменский набор услуг, которые по минимальной стоимости могли предложить новой репатриантке, израильской госпоже...

Мы иногда перебрасывались с ней словечком-другим. В ее интонациях плавилась какая-то доброта, беспомощность, доверие, мольба о снисхождении, но из темных зрачков нет-нет, да и глянет дьявол. Она тенью убегала из дома, стараясь как можно быстрее удалиться от него. Муж ее, по всему, был бесхребетным, скорее этакой разновидностью бабы, бледной, тихой, как рукавица, из которой вытащили руку. В Союзе работал инженером по соцсоревнованию, здесь же поначалу устроился сторожем, но его быстро уволили, и он жил на пособие по безработице. Его, сорокалетнего, даже на работу никуда не направляли, – какой с него толк? Все время занят – все время ностальгировал по своему заводу – важному почтовому ящику, по отдельному кабинету, по хитроумным таблицам начисления прогрессивки...

В одном Шломо Цуце – старшем жизнь была ключом. Видя из нашего окна приближающуюся к дому невестку, он тут же выскакивал, чтоб перехватить ее где-нибудь на лестничной клетке и успеть ей сунуть кулаком под ребра. Настоящая разборка начиналась уже дома: это она, бессовестная, заманила сюда, ишь, подавай ей свободу творчества! – оставила мужа без работы, семью без квартиры, а тут еще свекровь плохо жару переносит. За дверью художницу ели уже оба родителя. Муж, естественно, молчал, не смея перечить героическому папаше, хотя

знал, что инициатором отъезда был как раз он, отец, Семен Цуц, взявший по этому случаю имя иудейского царя Шломо.

И знал, между прочим, по какой причине... затевал отъезд.

В очередной свой визит для выхода на связь с радиостанцией РЭКА, он неожиданно расхвастался:

– Ах, Евгения Израйлевна! Какая у меня *там* жизнь была, какая жизнь... Да если бы не невестка... Ух! Ненавижу этих... мандельштампики...

– Кого-кого? – не расслышала Женя.

– Учил их и учить буду... Я как видел... художник или там писатель... я их, мерзавцев, идеологических вредителей, пакостников, в самый худой барак отправлял, к уркам...

Женя онемела. Идеи, мысли – чепуха: реальны лишь слова, их порядок. Медленно до нее что-то стало доходить. Вдруг тошнотворно запахло химикалиями...

А Шломо Цуц, расхваставшись безудержно, сообщил ей как «старой, выдержанной большевичке» свою тайну: после войны, натешившись властью в заградительных отрядах, он получил вакансию начальника лагеря...

И тут с Женей случилось нечто уникальное, единственное в своем роде и, главное, впервые в жизни: ей вдруг показалось, что она проглотила маленькое зернышко и от волшебного зернышка вдруг стала расти и расти. И выросла до облаков. И крикнула:

– Вон! Чтобы духу Вашего, милостивый государь...

– Я тебе ничего не говорил, старая ведьма! Я придумал все, чтобы проверить, какая ты большевичка... Такая же мразь, как моя невестка... Я проверял тебя, поняла, проверял!..

Они говорили одновременно, вернее одновременно кричали, и мать заметила в его глазах страх и инстинктивно поняла, что Шломо Цуц действительно был инициатором отъезда из СССР, потому что боялся, что раскроются архивы КГБ-МВД и тогда его жертвы узнают, как и кого он «учил»...

После инцидента Цуц у нас не появлялся. А Женя сделалась и вовсе тихой, безмолвной, казалось, она всего лишь одежда, существующая сама по себе. Смятая, брошенная на кресло. Лицо словно растворилось в комнате, ушло в никуда. Я смотрел на нее, и мне казалось, что в нашей комнате внезапно помутился воздух, достиг меня и прошел ознобом тревоги.

По вечерам, когда я приходил со случайной работы, она была взбудоражена, склонна препираться со мной, багровела лицом и распалялась до иступления. Потом замолкала, садилась на кровать, выставляя босые уродливые ноги с длинными ногтями, и начинала зевать, до болезненной судороги неба. В иные дни она была спокойна, сосредоточена и с головой уходила в старые газеты, плутая в непролазных лабиринтах непонятных ей слов.

Помню, проснувшись среди ночи, я видел как она стала во весь рост на кровати и стучала по ней палкой, точно вымещала свою ярость...

С каждым днем она становилась все меньше и меньше, увядала на глазах. Сидела на корточках на полу и разговаривала сама с собой, вся уходила в какую-то страшную путаную внутреннюю свою жизнь. Она перестала завтракать, обедать и вообще пряталась по углам, залезала в шкаф, однажды залезла под кровать и целый день спала там. Вообще, как-то стала исчезать из вида. Я мог часами бродить по комнате и нигде не встретить ее, постепенно привыкнув к ее присутствию где-нибудь рядом. И действительно, она вдруг точно выныривала из-под кресла или из какого-нибудь темного угла.

Потом она стала исчезать на много дней. В последний раз я видел, как она засовывала в наволочку мои рукописи, которые лежали на письменном столе, и что-то бормотала, точно забывалась долгим черным сном. Я затаил дыхание, прислушивался и вдруг встречался глазами с ее мутной блаженной улыбкой, вернее, с игрой ее темных уст...

А потом она и вовсе исчезла. Была какая-то мизерность телесной оболочки, какие-то бессмысленные чудачества. Потом и это ушло. Осталось только бормотание ветра, какие-то

странные шорохи за дверью, всхлипы и что-то новое и страшное, что-то чужое поселилась во мне, потрясало, повергало в ужас. Иногда, я чувствовал себя трупом, и хотелось отложить жизнь. Я испытывал чувство полнейшей безнадежности – времени, личной судьбы, грядущего. А потом приспособливался, накапливал новые жалкие силы и жил дальше: довольно и того, что Женя где-то рядом.

5

В середине октября меня охватило странное чувство – я не хотел, чтоб наступила зима. Еще не спал страшный зной. Без шляпы или темных очков выйти из дому нельзя. Но я уже панически боялся израильских ливней, наступления холодов и все чаще и чаще с глубокой тоской вспоминал свою уютную квартирку в маленьком провинциальном городке, красивый резной камин. Одна из моих многочисленных подруг у камина что-то вяжет, а я тихо переговариваюсь со своим любимым Шагалом: «Привет тебе, звезда в зените...» И от слова «зенит» все зеленело. И я засыпал. И просыпался почему-то в широкой кровати, и рядом со мной слышался какой-то глупый смех...

Вообще, я уже не осознавал, куда иду, что делаю. Часами я лежал на диване и мечтал: Господи, если б как-то избежать этих ливней, перескочить из октября в март – все равно время – странная субстанция. Что оно значит, время?

О март, март! Как я мечтал о марте! Я поглядывал на часы, с ужасом замечая, что не только мое тело, но и так называемая душа стареет вместе с моими желаниями. Но за окном по-прежнему была вторая половина октября. И я – в квартире, где свободно можно биться головой о стенку, поскольку, как известно, стены в израильских квартирах тоньше папиросной бумаги, а квартиры – без печей, теплого воздуха, без которого зимой не бывает уюта. В общем, первый раз со мной было такое, чтоб я не хотел зимы, ну разве еще тогда, после известного августовского путча, когда все газеты стали писать, что наступающая зима станет последней для потонувшей империи: исчезнет уголь, газ, нефть. Все нарастало и нарастало предчувствие колоссальной неприятности, к которой я приближаюсь...

Нет, дело было конечно не в том, что я предчувствовал и ждал гибели – все равно и летом и зимой ездить в израильских автобусах боязно: войдет подозрительный мужик с сумкой – и все тело уже рвется на части мелкой дрожью, и не успокоишься, пока один из нас не выйдет из автобуса...

Я вообще не хотел осени как таковой, не хотел дождей, пронизывающего ветра и тоскливой заброшенности в своей одинокой комнате с матерью, спрятавшейся во всех щелях сразу. Тело и душа в предчувствии холода сжимались, робко надеялись каким-нибудь образом избежать этой встречи. Но было именно ощущение – зима надвигается, будто кто-то толкает ее в наш город. Хотелось упереться, оттолкнуть ее, не пустить. Но, конечно, ничего из этой затеи не вышло, зима была мощнее моих чувств, плевала на них, и вот уже потоки воды низвергаются на головы прохожих, и мокнет стенка, которую обещали отремонтировать еще при сдаче квартиры. И в природе и в государстве царил незыблемый порядок: день сменялся ночью, осень зимой, и вранье строителей – неколебимо.

Ах, как тепло было в моей квартире по ул. Коммунаров! Как грела батарея в моем кабинете режиссера местного театра и как приятно располагало это тепло к дремоте! Сто восемьдесят рублей зарплата, прогрессивка, премии, гонорар! Я даже удивился, как привык к тому, что с этим давно покончено, а жаль. И зарплата, и прогрессивка, и премии и гонорар могли бы сегодня сильно скрасить мою жизнь, убрать из нее темный рисунок и осветить серебряным солнцем...

Страшную, неопишемую жару, когда кажется, что обугливается одежда, я выдержал. Как и о прежней зарплате, я теперь вспоминаю об этом с грустью. Хочется спать. Но кто может поручиться, что я уже не сплю? Не сплю давно?

Что, в сущности, мне не хватало? Изменить порядок вещей в советском (а для справедливости, и в мировом) театре? – невозможно. Кроме известной тактики фельдмаршала Михаила Илларионовича Кутузова – полного невмешательства в дела – здесь не требуется никакой другой. В ведомстве министерства культуры вообще нельзя ни во что вмешиваться. Не надо

здесь искать никакой сказочной мистики, никаких мотивов тысячи и одной ночи. Это почтовое бытие. Того хотел Бог. Ведь придумал же Всевышний акулу с зубами!

И только некие атрибуты социалистической системы должны были выдерживаться непременно.

При назначении на должность главного режиссера с подобными хитростями я столкнулся в великом множестве.

Приказали выстроить в театре комнату гигиены женщин. Построили – чистенькую, аккуратненькую, итальянским кафелем обложили – загляденье – и только. И свет там все время, хоть днем, хоть ночью – мой шеф, директор театра, не чаявший добраться до пенсии, все продумал: «Комнату береги. Она – для комиссий. Ключ держи у себя в кармане. Нагрывает санитарный врач, а у тебя чистота и порядок. Разве что розовых шаров не хватает, чтоб бились от встречного воздуха... так это, думаю, простят...»

«Как?! – возмутился я. – Это же для людей строили, для женщин с их сложной физиологией! И потом эти биде – наша гордость, кто бы знал, как их выколачивали...»

«Ну-ну, жизнь тебя просветлит...» – пообещал шеф грустно, словно понимал, что со мной ему придется маяться. То ли дело мой предшественник, молодежавший пенсионер с авоськой, хорошо понимал, что построить – это еще полдела, но что после со всем этим – хлопот не оберешься.

Нагрнул как-то к нам в гости некий Грубин, санитарный врач, выученик самого Серго Орджоникидзе. С ним Грубин начинал свой беспокойный жизненный путь. Надо сказать, метод проверок у него такой – все углы трещали. Парадных актов залов он сторонился, быстро пробегал служебные помещения, украшенные гобеленами и дорогими породами дерева, тяжело вздыхал: «Не по средствам живем, ребята, не по средствам», – и тут же влетал в туалеты, в буфет, обходил все нехоженые тропы на заднем дворе, вихрем врвался в столярную и приказывал послать за ее хозяином Кузьмой, если он, разбойник, унес ключ с собой.

Комнату гигиены женщин Грубин посещал всенепременно. Я же, храбрец, отдал ее в полное распоряжение женщин. Надо сказать, во всех отчетах она фигурировала как выдающееся достижение эпохи НТР. Председатель профсоюзного комитета даже предложил списаться с композитором Хренниковым, нельзя ли, мол, на этот счет оперетку сочинить.

Вихрем, влетев однажды в комнату, Грубин нашел на стене самодельный плакат-вопл, написанный рукой уборщицы тети Клавы, предупреждающий смысл, которого несколько выходил за пределы установленных языковых норм. Над бело-голубым биде красовалось: «Сюды не срать!» Тетя Клава как думала, так и говорила и, между прочим, смысл ею говоренного вовсе не расходился с предписаниями санитарной гигиены, просто слово вкралось очень уж незатейливое.

– Да и бабы у нас двадцатипудовые, – оправдывалась тетя Клава, – стремглав летят...

Грубин же расценил ее житейскую мудрость как использование средств бытовой техники не по назначению, долго ахал, вконец расстроился и написал акт, полный непредсказуемых для меня последствий, так что директор театра попросил немедленно вернуть ему ключ, ибо нашел меня недостаточно прозорливым, мало проворным и вообще не отвечающим требованиям времени: «Забота-заботой, от забот озноб берет,» – говорил он.

В общем, мое образование шло семимильными шагами, но, по-видимому, ему следовало идти еще быстрее, потому что одна фраза на областном совещании стоила мне заманчивого существования внутри этой навсегда испорченной шарманки. Начальник управления культуры, старый барин, продемонстрировал строгость на одном из служебных совещаний, поднял меня и при всех спросил:

– Ну-с, милейший, когда это вы будете приезжать со своими артистами во время на концерты в сельские районы области?

– Когда в выбьете в Министерстве культуры новые автобусы или машины и перестанете ездить на служебной машине на охоту...

– Неслыханно! – закричали участники совещания. – Неслыханно! Какое чистое произношение! Артикуляция! Дикция! Совершенно как в Академическом Малом театре! Даже скорее Художественном!

Барин же мрачно констатировал: «Как труп в пустыне я лежал»...

А утром наведалься комиссия, созвали худсовет, посмотрели репетицию моего нового спектакля и тут же закрыли его, как идеологически вредный...

Но как хорошо было раньше! Скажешь, бывало, секретарше: буду работать над проектами, ко мне – не пускать... И она – мышь не впустит. А я разложу стопочку листов и... Какое блаженство! Какая сладкая боль! Сидеть и писать пьесу. И мой шеф, прочитав одну из моих одноактовок на еврейскую тему, сказал: «Старик, это коммерческая пьеса! На неё пойдут евреи...».

И – пошло-поехало! К 1967 году, то есть к Шестидневной войне действительно получилась довольно милая пьеса. И я уже был у Бога кораблем, ушедшим в море. А шеф оставался на берегу. К 1968 году, когда наши войска перешли чехословацкую границу, стало ясно даже непосвященным, как горько оставлять недоеденным Плод познания Добра и Зла. Я уходил из театра, ломая себя, как Голубую Чашку. Кто-то предложил вынести из актового зала стулья, на которых наверняка сидели еще Желябов и Перовская.

Шеф отдал мою повесть в Обком партии. В идеологическом отделе плакали и сказали, что «автор льет воду на мельницу сионизма». А потом они решили поставить её, но только в «урезанном виде». Перед советскими драматургами, режиссерами эта проблема стояла всегда: либо вообще ничего не делать, либо печатать или ставить то, что цензура и партийные органы позволили. У меня даже была по этому поводу переписка с известным режиссером-диссидентом. Я рассказывал, как меня уродует управление театров, партийные органы и как всякий раз, несмотря на отчаянное сопротивление, они достигают своего, так что в свет выходят книги или пьесы-уродцы, которые мне самому ненавистны. Режиссёр сказал, что на разумные уступки идти приходится, но – до известного предела.

Когда я увидел, что из новой пьесы выбрасывается четверть особо важного текста и смысл пьесы из-за того переворачивается с ног на голову, я заявил, что в таком случае пьесу забираю и ставить её не буду. И потребовал рукопись обратно.

И тут случилось нечто уж совсем неожиданное. Рукопись не отдавали. Я пришёл в отдел агитации и пропаганды Областного комитета партии и сказал: «Это моя пьеса, моя работа, моя бумага, наконец! Отдайте, я не желаю ставить!»

Заведующий цинично, издеваясь, сказал:

– Ставить или не ставить – не вам решать. И рукопись вам никто не отдаст, и поставим, как считаем нужным...

И тут на авансцену вышла наша домашняя энциклопедия – моя первая жена Мила. В то время она работала инструктором в горкоме комсомола, где ее держали исключительно для цифири, чтобы в нужный момент показать, что и в горкоме комсомола есть люди с наболевшим «пятым пунктом». Но Мила этого не понимала, а главное, понять не хотела. В ней жил и даже процветал ген революционерства. Ее место было только на баррикадах.

– Как ты смел! – кричала она. – Это же антисоветчина...

– Писать о евреях – антисоветчина? – спрашивал я.

– Да, но не в такое время, когда израильтяне затеяли агрессию... Это вызов...

– Но пойми, – сопротивлялся я, – мой дед не был сионистом, я просто написал пьесу о детстве. Я же не виноват, что и я, и в нашем дворе все ребята были евреи...

– Художественное произведение не копирует жизнь. Ты что, забыл о магическом кристалле? Ты должен, ты обязан объяснить свой поступок...

Она кричала, а я ее видел такой, какой она была тогда, когда мы познакомились с ней впервые на танцах. Я танцевал с ней так, будто ее не было рядом, и руки мои касались ее талии, мои руки, которые она потом, когда мы спали вместе, часто клала себе на лицо. Светлыми ночами волосы ее казались не черными, а пепельными, как свет, проникавший с улицы, и я тревожно прислушивался к ее дыханию, которое нельзя было услышать – только почувствовать, если поднести руку к ее губам...

Мила была странной женщиной. Абсолютно фригидной. Ее не интересовали мужчины, как таковые, она считала – все должны были быть бесполоыми. В постели с ней было одно мучение: так ей больно, а этак, тяжело, а этого она не переносит, потому как стыдно, и вообще, она лучше почитает, посмотрит телик, потреплетя с подругой. Если отбросить пресловутую «пятую графу», то в комсомольском ведомстве она держалась исключительно за счет своего фанатизма. Всякий день она готова была превратить в комсомольский субботник, в то время как ее коллеги – в очередную пьянку. Однажды на какой-то вечеринке пьяная братва таки стащила с нее трусики, но она подняла такой крик, что даже на окраинах города всполошились... Комсомольцам, повезло, ох и помучались бы они с Милой...

Мои отношения с ней входили в ту угрожающую фразу, когда не было уже ни духовной, ни физической близости, одно любопытство, что же за существо такое живет рядом с тобой, которое все время берет сторону обкома партии?

Единственно, что удерживало меня – ее голос и маленькая ножка! Надо же – пристрастие к маленькой ножке: первый взгляд на женщину – сверху вниз. Но голос у нее был совершенно необыкновенный. Низкий, грудной, он накатывался волнами, миновал уши и устремлялся прямо в сердце. Все проекты решений комсомольских собраний и конференций поручали читать ей, хотя Первому секретарю обкома это и не нравилось – не теми устами глаголет истина...

С Милой все валилось. Какой-то зловещий рок коснулся нас.

Но еще хуже мне было с самим собой. Чем больше я читал свою пьесу, тем больше она раздражала меня своей совковостью, полусмелостью, полуправдой. И это такая-то рукопись смогла вызвать гнев идеологического начальства? Да я ассимилированный еврей в третьем или четвертом поколении. У меня на губах – молоко русского народа, а в крови не смолкает его прибой с тех самых пор, как первый варяг-наильник пришел на Русь. И если уж бунтовать, так снова с неоварягами, чтобы еще раз покорить Русь. Да, Милочка, я хочу перемен. Но уж если мы после жестокого психоанализа разъярили свою душу, словно труп, и знаем, что любой неосторожный шаг вынесет нас в нашу скифскую Степь, в очередную социальную революцию, то давайте попытаемся насыпать соли на собственный хвост, пока еще не поздно...

И вдруг свет замигал – хлоп, лента оборвалась, темно-серый экран, посередине – светло – желтое пятно: Мила ушла...

Месяц я мыкался, точно в тумане: работы нет, жены нет. Женя, разузнав о моей пьесе, перепугалась до смерти и целыми днями ходила с красным флагом в руке. По ночам ее постель часто пустовала, иногда несколько суток подряд, и когда я укоризненно спрашивал: «Где ты только пропадаешь?» – она отворачивалась от меня и как-то тихо, по-собачьи, скулила. Позже я проследил, что она ночами толклась в подъезде, и во дворе, желая опередить тех, кто приедут с ордером на мой арест...

И вот в один из дней меня пригласили к самому Секретарю областного комитета партии по идеологическим вопросам. Он поднялся (сильно напоминая стоящий вертикально дирижабль), когда я открыл дверь и минуты три шел ему навстречу, как космонавт по ковровой дорожке. Я шел и чувствовал на себе пристальный взгляд человека, привыкшего к победам и не сомневающегося в успехе.

Здесь начался новый фильм, и он долго прокручивал первую его часть – ту, которая не была сном.

– Почему вы не работаете? Вы что хотите, чтоб вас выселили из города, как тунеядца?

– Я пишу.

– Желаю вам счастья.

– Спасибо. Я подумаю, брать ли его.

– Возьмете, когда само лезет в руки... – «Дирижабль» начал что-то щебетать, и мне показалось, что во рту у меня чудесные конфеты. – Располагайтесь как дома. Здесь вас ценят куда больше, чем вам кажется. Ваша пьеса может быть хороша... В руках другого режиссёра... Из твоей пьески он сделает пьесу важную... Идеологическую. При Управлении культуры организован молодежный коллектив: «Новый политический театр». Там умелые парни и лихой режиссер.

Он уже перешел на «ты» и вроде бы побратался со мной.

– А *тебя* назначим художественным руководителем... Такие кадры не валяются на проспекте...

– На улице, – тихо сморозил я.

– У нас в городе нет улиц. Мы решили, что в городе будут только проспекты...

И он очаровательно улыбнулся, этот «Дирижабль».

А еще через пять минут он преподнес мне сюрприз: путевку в санаторий ЦК, дескать, устал я, порасшатались нервы, партия позаботится, чтобы отдохнул. Так что я приеду на премьеру, так сказать на готовый спектакль...

«Сказать тётке про путевку или нет? Сразу вспомнит, как заманили Мандельштама в дом отдыха, а там и накрыли».

– Признаюсь, – сказал «Дирижабль», – мы очень на вас рассчитываем. Нам понравилась ваша смелость. «Отдайте машину для артистов» – так вы сказали, что ли?..

– Откуда вы знаете?

– Мы все знаем, служба такая...

Собственный театр! О, какие больные струны затронул этот «Дирижабль»! О... Я выведу вас на площадь, к фонтану, и начнется грандиозная драка, и все застынут в немыслимых позах, а я, князь, прикажу: «Монтекки и Капулети, именем закона, разойдитесь!»

Все-таки оценили пьеску!

– Не имей ты с ними дела, – сказала моя давнишняя подружка из театра Люська, когда я рассказал обо всем, что со мной произошло в кабинете Секретаря областного комитета партии по идеологии.

– Представляешь, потом угостил коньяком, вызвал персональную «Чайку», чтобы меня отвезли домой...

– Этот хлюст посещает наш театр каждую субботу. Балет его, видите ли, интересуется... Его интересуют только бляди... Он обязательно подстроит тебе ловушку...

– Это будет диалог о потерях и приобретениях, это разговор на чистоту. И уж в пьесе нам ничего не помешает, – горячился я.

– Когда меня приглашают на комсомольское или партийное собрание, я всегда чувствую себя больной... И к тому ж, из твоей пьесы убрали четверть текста! Что скажут твои друзья? Они ведь не знают, как ты вырвал из рук заведующего отделом культуры свою рукопись, как ты изорвал её на мелкие кусочки...

– Да, у них осталась копия...

...Смотреть на Люську за рулем – одно удовольствие. Свободна, раскована. Красавец «Мерседес» понимает ее с полуслова, вернее, с полудвижений, а главное – подчиняется мгновенно. Мы летим, точно на гоголевской тройке, но в отличие от нее, знаем, куда держим путь. И знания эти весьма приземлены, ничего космического или потустороннего: мы мчимся в театр, где работает моя подружка, и куда я мечтаю попасть чуть ли не со дня приезда. Она приехала в

Израиль в 1973 году. За те двадцать лет, что мы не виделись, она научилась водить машину, говорить: «Это твои проблемы» и твердо верить, что в банке можно кредитоваться сколько угодно.

Я об этом ничегошеньки не знаю. Всегда стеснительный, зажатый, никогда не водил машину (быть может, тогда б и артисты приезжали на концерт во время не замедлялись). Там, в совке, эти-то с машинами казались мне настоящими буржуями. Привык к тому, что все проблемы исключительно мои – от борьбы американских негров за свои права до подъема сельского хозяйства, что же касается «минуса в банке», то очень прошу спросить меня что-нибудь полегче, ну, например, «Кто виноват?» и «Что делать?» Тут все мы доки!

А когда-то, много лет тому, мы с Люськой были неразлучны. Я – частый посетитель балета, а она – Одетта. Каждый вечер я приносил ей букет желтых роз. Бродил по вечернему городу в тумане, искал, чтоб поднести ей, эти несчастные, измученные туманами и ожиданием розы. Нам завидовали, мне кажется, даже пытались подкупить буфетчицу, чтоб она подсыпала цианистый калий в ожидавший меня в последнем антракте холодный фужер с традиционным шампанским, тогда невиданно дешевым. Но у буфетчицы я был постоянным и верным клиентом.

И я был влюблен...

А весь кордебалет, имеющий сто кавказских любовников, почему-то нам завидовал.

И вот теперь, мне кажется, мы перестали понимать друг друга. И постаревшие в кордебалете лебеди смотрят в мою сторону потухшими глазами: «Мы предупреждали...»

Я расшаркиваюсь: «Мерси...»

Вспоминаю, как моя Одетта поклялась, что дождется пенсии и подожжет театр. И рванет ввысь...

А тогда она стояла и дрожала всем телом и вытянутыми над головой руками. И мне казалось, что это не она – я превращаюсь в птицу...

Она действительно рванула. И оказалась здесь, в Израиле. Я остался. Меня восхитил ее высокий прыжок. И испугал одновременно: она непременно окажется в бездне. Но в бездну летел я. А она, упрямо поводя ножкой, прошла по разным сценам мира, ушла в малый репетиционный класс, где ловко водят ножкой другие...

Мне казалось, я знаю жизнь: все-таки еду с ярмарки. И дорог понаезжено. И по тропкам блуждал, по закоулкам...

Дисциплиной меня не удивишь: сказано потуже затянуть пояс – затянул, вдохнуть глубже – вдыхаю и принимаюсь за работу. А вот уже дети наши или внуки, даст Бог, заживут по-царски...

Здесь же, по нашим социалистическим меркам, моя подруга уже давно живет по-царски: собственный дом с бассейном, вот «Мерседес», за плечами – полмира...

Эхма! Лечу с подругой на «Мерседесе» и даже самой малости не разумею.

– Что ты делал в той стране, когда с кем-нибудь не соглашался? – спрашивает она и чуть косит на меня своими лучезарными глазами.

Собираю всю свою решимость и храбро отвечаю:

– Стучал кулаком по столу.

Она смотрит на меня уничтожающе: интеллигент гнилой, институтка...

– А здесь в той же ситуации надо перевернуть стол. Понял?

Качаю головой: понял, но, что делать, привык довольствоваться малым...

Оторвав пальчики от руля, она хлопнула меня по плечу:

– Рабская психология! Надо научить себя хотеть многого, тогда дело пойдет!

Перед моими глазами замаячил минус в банке, и я понял: медленное вживание в страну, которого я столь долго и мучительно ожидал, наконец, началось...

– Семьдесят лет для *вас*, – раздумывает она, – не прошли даром, *вы* превратились в нищих и успели забыть, что когда-то жили иначе...

Я, правда, иначе никогда не жил. Пьесы мои шли трудно, ставились ещё тяжелее. Мне советовали писать книги, но сроки издания были рассчитаны на бессмертие автора. Вот дед действительно жил иначе. На фотографии он с женой, моей бабушкой. Бабушка в такой немыслимой шляпке, которую носили разве что в окружении государя. Выписали не то из Варшавы, не то из Парижа, куда дед, композитор и дирижер, выезжал на гастроли. Впрочем, то было до 1914 года. Так что подруга права: когда-то даже в России жили иначе...

– Но главное, – продолжала она, – сжились с нищетой, уже не помышляли ни о чем другом!

Я смотрел на нее и не переставал удивляться: брависсимо! Неужто, за какие-то двадцать лет она так хорошо во всем разобралась?! Можно сказать, суть схватила. И это, притом, что за все эти годы не держала в руках ни политэкономии, ни учебников по научному коммунизму или марксистско-ленинской философии. Надо же!

Я сижу рядом, учусь уму-разуму и вспоминаю: нет, не помышлял ни о чем другом, это уж точно! Никто не умирает с голоду – счастье. Никто не ночует под мостом – победа социализма (хотя ночевали и еще как!). Чуть-чуть стали полегче выпускать за границу (Болгария, Польша, Румыния, Чехословакия, ГДР) – это разгул демократии. Крохи, объедки с барского стола, нас к этому приучили. Психология раба. А раб не может быть созидателем, он может быть только потребителем, причем потребителем безнравственным, который не просто берет то, что плохо лежит (а плохо лежит все), он еще и рушит оставшееся, чтобы никому не досталось: «Я живу плохо, так и ты живи плохо!»

– В общем, так, – предупреждает подруга, – в Толстого заглядывай реже. Вот учебники по языку, словари... Другое дело...

– А кто же Анной Карениной восхищался?..

– Да, да... «Анна Каренина не нашла в жизни настоящего мужчину и легла под поезд»... Кажется из школьного сочинения... Дуррой была, – зевнула подруга. – Сын и «Анжелику» не осилил, а сядет за компьютер – засмотришься...

– Ты Кафку читала?

– Не...

– И я нет, – неуверенно соврал я, чтоб быть к ней поближе...

Она подозрительно посмотрела на меня:

– Не верю я в него...

– И я не верю...

– Послушай... А почему ты тогда со мной не поехал? Так любили друг друга! После тебя я вдруг почувствовала себя трупом, мне захотелось отложить жизнь... Да... Наделали ошибок... Я ведь забыла... Ты всем был должен... Ради Бога запомни: ни Израиль тебе, ни ты Израилю ничего не должен... Запомнишь?

Я согласно кивнул головой. И тут же почувствовал на глазах слезы: «Действительно, институтка!» – прошипел я про себя. Всю жизнь я прожил с ощущением какой-то странной вины перед людьми. Вины и долга.

Чем ближе мы приближались к театру, тем настойчивее становилась подруга: Толстой не нужен. Шаггал тоже чужак из галута. Разоружает, отвлекает от конкурентов. Все, что придумано в этом мире, в сущности, никому не нужно. Все давно умерли. Панихида – завтра. Евреи обогащали цивилизацию? Лучше бы не плелись в Бабий Яр да Освенцим... да не корректировали бы свое поведение с оглядкой на Марию Алексеевну.

Я сидел, уткнувшись в лобовое стекло. Спасайте мою жизнь! Моя персона – нон грата в стране перевернутых столов... Не могу! Не желаю! Между нами – пропасть...

– В общем, бери себя в руки...

- Обещаю, буду, настойчив, как умирающая муха...
- Ну... другое дело...
- Ах, Одетта, Одетта...

По знаку светофора машина остановилась. Красный свет. Потом зеленый. Стоящая перед нами «субару» все никак не могла тронуться. Моя женщина, моя Одетта даже подпрыгнула от нетерпения:

- Ну же... Ну...

И тут я вдруг понял нечто большее, чем собирался:

- Bravo, подруга! Ты такая же нервная, как и я...

– Мы все нервные, – ответила она вяло, – вчера в Кнессете один министр кричал другому: «Ты как был бараном, так и остался!»

Слезы все катятся и катятся по моим щекам. Я подставляю ладонь, и ладонь делается мокрой от слез.

Поющие нервы... Вот что объединяет всех нас. Сабров и олим. Выходцев из Эфиопии и Румынии, Туниса и Польши, Марокко и Советского Союза. Работающих и безработных, домовладельцев и живущих на съемных квартирах. Мы все нервные, и глаза у нас тоскливые, как у больной собаки. Мы нервничаем, когда нервничать надо, и не остаемся безучастными, когда, кажется, можно и успокоиться. И до всего нам есть дело...

Я слышал какие-то крики, вопли, завывание, уханье, скрип тараканьих шагов. Что-то летело на меня, какие-то существа, в желтом болезненном зареве полыхали бабочки с девичьими лицами...

Мы явно летели в пробку. Пospеть к началу спектакля было уже проблематично. Оба нервно поглядывали на часы.

- Одетта! Если я буду твоим последним мужем, мы всегда будем выезжать вовремя...
- Твои проблемы, – сказала она и затихла.

И на бешеной скорости погналась за красным автобусом, в котором ей приглянулось баранье лицо усатого водителя.

- Спектакль – дерьмо, двадцать лет не могу понять, зачем так надо кричать на сцене?

Мы сидим в маленьком уютном зале театрального ресторана. Тихо звучит босанова. На сцене было так буднично, заурядно, а здесь тихо, ощущение покоя и предвкушение праздника.

- Помнишь тот мой спектакль? Он был еще хуже...

– А... Они тоже орали... Давили на психику... Дозволенный патриотизм демонстрировали: «Герой Советского Союза Цезарь Львович Кунников...» Они, не знали, что его записали русским, только чтобы дать Героя? У тебя же этого и в пьесе не было...

- Дописали...

– Актеры были стертые как пятаки, смертельно уставшие, видно, репетировали всю ночь... И так уныло, без увлечения, без темперамента и страсти играли в миллионный раз плохой спектакль о «еврейском человечестве»...

– Да, да... Мне это снилось ночами: «...В моем подъезде уже третий месяц не горит лампочка. У Сидорова горит. У Приходько горит. У Вассермана, представьте, горит. А у меня – не горит. Ну, вы, конечно, понимаете, в чем дело. Сначала сына не приняли в музыкальную школу – говорят, нет слуха, как будто я это и без них не знаю. Тогда объясни ребенку, как его добыть. А вот теперь еще и лампочка не горит. Звоню в ЖЭК, звоню в райжилуправление, в горжилуправление:

– ...Что вы нам морочите голову, – подхватывает Люська, – во всем мире энергетический кризис – чепуха. Упраздните январь и февраль, удлините июнь, июль, август... А они мне говорят, скажите лучше, у какого психиатра вы лечитесь? Все, жена, все, если тебя считают верблюдом, так плюй на всех! Между нами – я единственный наследник дядюшки-миллионера.

Он зовет меня отдохнуть на побережье Атлантики. Мне снятся цифры, цифры, цифры и я уже не знаю, что это – мой счет в банке или номер моего телефона? Все жена, едем...»

– Люська, ты помнишь эту дребедень на память?

– Конечно! Я повторяла эти монологи много раз. А если бы у того лопуха не было дядюшки-миллионера, он бы поехал сюда? И почему в Атлантику, он что так и не завернул в Израиль? Потому что Израиль для него по-прежнему страна, в которой где-то находится Иерусалим... И Стена Плача... Левка-Клёвка, зачем вы все приехали сюда? Строить новый Израиль? А мне хорошо было в старом... Без русского языка, без страданий по мировой революции, мне было хорошо здесь даже без Таганки или Галича... Мой балетмейстер сидит и мечтает: сейчас у нас в Минске осень. И желтые листья плывут хороводом. Там – мои братья, мои друзья – неужели они все это видят? Ему по ночам снится старая лиственница. И ее хвоя, тонкая, как короткие золотые волосики. Он смотрит на небо и вспоминает белорусские озера – синие, синие, голубые-голубые. И кричит по ночам... Ты же об этом писал, Левка-Клёвка, писал все правильно, ты их подсмотрел, точно сквозь время... Чего же они все от тебя хотели, твоя учительница Кац? И другая, тоже Кац... Недавно, я слышала она выступала по русскому радио и говорила, какую полноценную и счастливую жизнь она прожила в Советском Союзе...

– Я виноват, Люська, если б я отдал свою пьесу на радио «Голос Америки»... Я вообще кругом виноват. Я был плохим евреем. Я так и не выучил язык идиш. Я смеялся над плохим произношением тех, кто только с 1940 года стал гражданином этого государства. Когда им было успеть язык выучить? Разве что в гетто?

– Ты с ума сошел! Кто бы взял твою пьесу на «Голос Америки»? Ты прав был, Левка, в твоей пьесе не было ни капли лжи, но и не было ничего такого, чего б каждый день не случилось в Израиле... Но... Как бы тебе сказать, нельзя сор выносить из избы... Вот чего тебе не простила Кац, и твой Рыжий Математик – сор... И вообще, нельзя, никогда нельзя играть в чужие игры, они всегда переиграют, обманут, обмажут... Зачем ты тогда остался? Зачем тебе надо было беседовать с каким-то там «Дирижаблем», разве ты не понимал, что он тебя проведет? Они способны на все. Я их боюсь даже здесь. Честно говорю, я их смертельно боюсь!

Я глядел на ее доброе детски-губастое лицо и думал о проклятом времени, которое могло довести до такого состояния человека, уже никак не связанного с прошлым отечеством. Той страны уже давно нет. Она сошла с ума. Но она все мстит и мстит. А жизнь по-прежнему движется вечной наивностью людей...

Я сторонился людей. Я был растворен в огромной стихии ужаса, понимаемого в самом широком смысле – народ, государство, дело.

Спектакль принимала комиссия министерства культуры тринадцать раз! Уклончивые, хмурые, хитрые морды, они каждый раз вырезали какое-нибудь слово, реплику, сцену, казавшуюся им двусмысленными. Пьеса, которой режиссеры и «режиссеры» в более широком смысле слова замыслили как антиссионистскую, явила свою противоположность. И члены комиссии стонали и все кромсали, кромсали, кромсали. Я хлопал дверью и уходил. И угрожал, что снимаю своё имя. И тогда ко мне присылали гонцов и говорили, что молодой коллектив остается без зарплаты, потому что им нечего показывать, а артисты филармонии, видите ли, получают денежки от количества спектаклей, а не репетиций. А уже давно исчерпанный репетиционный месяц только один...

Я все дальше уходил от себя, терял себя, свою единственную хорошую привычку – недопущение людей в душу. Люди окружали меня постоянно. И каждый доказывал что-то противоположное, одинаково для меня постыдное...

Я терял себя в мутной дряни, где были намешаны неудовлетворения, стыд, страх разоблачения, который явится, когда пьеса появится на сцене. Что-то я не доделал. Не закрутил какую-то гайку на нужный виток. Зачем было соглашаться на пьесу? Зачем было отстраняться от постановки, ведь чувствовал же, что случится что-то гаденькое...

Позвонила Мила:

– Я рада, что классовое чутье в тебе взяло вверх. Если подумать, то что-то может у нас склеиться...

– А если я задеру тебе юбку где-нибудь в темном углу? Ты что, уже не боишься забеременеть?

– Так хамски могут разговаривать только знаменитости, – сказала она тоскливо...

– Понимаешь, Милочка, – сказал я напрягаясь, – каждая баба, даже самая дурная и подлая, хочет что-то отдать понравившемуся ей мужчине, хоть какую-то частичную девственность. Ты уже подумала, какую часть своего тела ты можешь отдать в мое распоряжение?

На премьеру я не пришел, сказавшись больным. Люська сидела со мной рядом и плакала. А потом пришло утро без зари. Прямо с утра начинался новый вечер. Я бы десятки раз погиб, сорвался с края, если б рядом не было Люськи. Казалось, она воплотилась во все вещи, во все явления, во всех животных, она воплотилась во всех женщин, которые мне когда либо нравились, хотя я должен был признаться, что никто больше, не производил на меня такого неотразимого впечатления. Рядом с ней я жил в мире, населенном добрыми мужчинами, добрыми старухами, чудесными вещами и восходами и закатами, достигшими совершенства. Я жил в мире, бесконечно щедро и полно населенном ею одной.

Вместе мы пережили сладко-хвалебную статью в местной и даже в центральной прессе. Я цеплялся за Люську, как за то единственное, что еще могло противостоять хаосу в моей жизни.

Мы были рядом с ней, чтобы любить. И мы любили с таким доверием и близостью, словно родили друг друга. Любили с ревностью, с ненавистью за эту проклятую пьесу, которая была третьей, даже в нашей постели, с чудовищными оскорблениями и примирениями, лучше которых ничего нет, с непощением и всепощением, мы говорили друг другу слова, которые были бредом и были счастьем, и, утомленные, засыпая, каждую ночь снились друг другу...

– В общем, все глупо, – сказала Люська, – Глупая жизнь, глупенькие люди... Ты приехал тогда ко мне в Одессу на гастроли. Из Одессы вся семья уезжала в Израиль. Еще тогда ты мог уехать с нами... Со мной... Ни о чем другом я не мечтала... А ты все время говорил, что не сможешь жить без Пушкина. Без этого памятника на Ришельевском бульваре. Без этой дурацкой истории Пушкина и Воронцовой...

История, действительно, вышла дурацкой. Это я уговорил Люську пойти на Слободское кладбище попрощаться со склепом, где покоился прах Елизаветы Ксаверьевны и ее недалекого мужа. И Люська согласилась. Мы прошли мимо хлебозавода, и запах свежего хлеба, смешанный с запахом аптечной ромашки, в изобилии растущей на обочинах тропинки, преследовал меня еще несколько дней. И вообще, стоило мне вспомнить о тех днях, и этот запах как-то непроизвольно являлся сам собой и дурманил, а позже вызывал приступ тошноты. Мы свернули к Кривой Балке и оказались перед стеной из ракушечника. Время сделало ее похожей на лицо древней старухи. Как раз за этой стеной и находилось старое Слободское кладбище. Как найти могилу Воронцовых я не знал. Вокруг было безлюдно. И я прямо бросился к старушке с ведрами, которая вдруг оказалась между камней. «Не может быть, чтобы одесситы чего-нибудь не знали, одесситы знают все», – думал я. И впрямь, старушка не подвела.

– Это какая же Воронцова? А-а, Лизочка!

Я ликовал: простая старуха – а помнит! Значит, есть, есть в этой стране что-то святое, что вывезет ее, вытащит из глубокой ямы, да и сама яма со временем осыплется, раз не исчезла память об Александре Сергеевиче...

Могилы супругов расположились поодаль. Граф лежал отдельно, под большой прямоугольной плитой темно-зеленого гранита с полной титулатурой. Надгробие Елизаветы Ксаверьевны чуть поодаль, много скромнее – обычное, стандартное, из цемента с белой мраморной

крошкой. На могиле – несколько высохших астр. Значит, и здесь кто-то был, не забывают... – по-прежнему с умилением думал я.

– Елизавета Ксаверьевна была старше Пушкина на 7 лет, а вот, поди же, пережила его на 43 года...

Люська кивнула. Что-то жесткое вдруг промелькнуло в ее лице. Она усмехнулась.

– Так вот, – сказала вдруг Люська зло, – информация к размышлению. Надо бы тебе знать, что граф и графиня были похоронены раньше в крипте Преображенского собора. В 1936 году собор взорвали, и прах с надгробием перенесли к их дворцу, который был тогда Дворцом Пионеров, я бегала туда в балетную студию и всегда пробегала мимо могил. А сюда, на Слободку, их перевозили уже при мне. Краном подхватили надгробие Елизаветы Ксаверьевны, да крановщик пьян был, как всегда, и выронил плиту... И она разбилась на мелкие осколки. А потом и гроб упал и рассыпался. И шофер автокрана при всем честном народе выскочил из кабины и пнул сапогом маленький серый череп... Так что Елизавета Ксаверьевна, если угодно, здесь похоронена без головы...

И я вдруг понял, что весь этот рассказ мне ни к чему, что все это я если не знал, то предчувствовал, скрывал от самого себя. И что здесь, на этом старом кладбище, мы с Люськой только друг для друга, и наглухо отгородили себя от города, ослепляющего всякого, кто впервые приезжал в Одессу или считал ее своей родиной...

Я касался ее легких волос и, наполняясь горячеей, туго рвущейся из оков жизнью, я понимал, что мое бытие обрело куда более прекрасноеместилище – Люську. Но сил ехать за нею, а главное, правоты – во мне еще не было...

Многому научила меня эта прогулка на Слободское кладбище. Расставаясь, мы тонко и смутно ощущали самую большую утрату в нашей жизни. Правда, я верил, это временно. Люська, станет, как и я, человеком мира, свободно ходящим по векам и странам, и тогда мы соединимся в какой-то точке. Впрочем, Люська надеялась на обратное, что я обрету нечто такое в своем сердце, что будет гораздо прочнее высохшего от времени праха любовницы Пушкина, отсутствие этой малости в сердце – Иудин грех. И нет ему прощения и искупления...

Я провожал ее до границы. Мы спали в купе в таких тесных объятиях, что были подобны сложенному перочинному ножу, каждый из нас был лезвием и ручкой одновременно.

И был ужас пробуждения. И прощания. Она уже вошла в таможду, и жгучий стыд ожег меня от прикосновения к ней толстой таможенницы. Но горе во мне было сильнее стыда, сильнее, чем та вороватая ложь на Слободском кладбище. Я стоял потерянный, точно в горячечном бреду. Несчастье уже обволокло меня. Мне оставалось только слечь в постель, и я пролежал три месяца – от нервного срыва и потрясения – в полном одиночестве. Пьесу мою, которую показали всего несколько раз, министерство культуры решило снять со сцены – подальше от греха, театр разбежался, я снова был без денег, без работы, а, главное, без Люськи.

На прекрасной скрипке оборвалась тонкая струна, и то, что пело, стонало, молилось, плакало, – мелко дребезжало...

В Йом Кипур я случайно забрел в московскую синагогу на улице Архипова. Начиналась молитва «Кол нидрей», а с ней и моя новая, путаная, неразумная жизнь...

Кажется, всё это было сто лет назад. А сейчас, выстояв в пробке, мы приближались к её театру.

– Прощай, – сказала Люська и поцеловала меня в губы. – Да, ты обращался по тому адресу, что я тебе дала? Там требовалось место сторожа, классное место...

– Обращался... Оно уже занято музыкантом...

– Лады, что-нибудь придумаем... Но ты же сейчас скажешь, что приехал сюда отдавать? Ты уже, наверняка, разработал целую программу какого-нибудь ульпана по истории Израиля... Только умоляю тебя, ничего не делай на общественных началах... И ничего не преобразовывай. Как прекрасен мир, которого не коснулись преобразования...

...Дома, переодевшись, я стал бесцельно бродить по квартире. Вдруг услышал шмеля в полете и обалдел: до чего населен и озвучен мир. А вообще надо всерьез подумать о себе, надо что-то жестоко решить и что-то изменить в жизни. Интересно, как это она угадала насчет ульпана? Он у нас уже действует вовсю. И, между прочим, на общественных началах. Работы нет, и это тоскливо. Но это дает возможность бесстрашно и просторно писать рассказы...

Вот только сесть за рассказ боюсь. Для рассказа не нужна действительность, не нужны ни шумы, ни краски, ни запахи окружающего мира. Кажется, ты лишился всех пяти чувств...

Уныло брожу из угла в угол. Интересно, почему Люська не захотела зайти в комнату? Чего она боится?

Машинально начинаю щелкать кнопками телевизора. Между прочим, сегодня начинается эротическая «неделя». Это значит, после полуночи на израильском канале появится очередная «Эммануэль». Из упрямства дожидаюсь немецкого или люксембургского канала, что в пору только тем, у кого хроническая бессонница.

Уткнувшись в экран, с каждой минутой все больше понимаю, что немецкие эротические фильмы способны превратить в импотента даже Казанову. Толстый баварец держит в руке кружку пива, смотрит на Гретхен безумными глазами и, наконец, выдавливает:

– Не знаю, удастся ли мне добиться вашей любви?

Гретхен кокетничает:

– Это зависит от вас! Пока что это удавалось каждому...

Выключаю телевизор и бросаю пульт на диван. И тут почти с садизмом маньяка вспоминаю, что в Израиле работают круглые сутки сексуальные услуги по телефону. Интересно, могут ли они конкурировать с кинофильмами?.. Нет, право, почему не полюбопытствовать, писатель должен все знать, как говорили нам, студентам, автор должен обладать не профессией, а профессиями. Тем более, что здесь у меня – никакой...

Выискиваю в газете нужный номер. Набираю. Мгновенный ответ:

– Да... Да... Вы попали по нужному адресу... Я ждала вас...

Голос – заставляет сразу утирать слезы. Густой, точно медная листва под крепким осенним солнцем. Какая цельная, чистая, прямая, святая жизнь! А если представить, что у нее еще маленькие ножки...

– Мила?! – почти ору я. – Как ты попала туда?

– Ты? Только не бросай трубку, пожалуйста, мне платят за время. Сегодня ты, наконец, получишь то, о чем мечтал всегда. Ну, не будь нетерпелив, я начинаю раздеваться...

– погоди, Мила, Милочка, ты же не любила этого делать?..

– О, говорят, у меня это хорошо получается. Мужчины балдеют. Для меня – идеальный вариант – ни одного кобеля рядом. Один здесь попытался залезть под юбку, так я вся забинтовалась...

Послушай? Может быть тебе лучше рассказать что-нибудь из истории? Ты ведь любишь историю... Я когда написала сочинение на тему о своих грудях, мой шеф чуть с ума не сошел. Он заставил меня писать о всех частях тела. И читать вслух...

– Да, с твоим голосом...

– Он говорил, что мое чтение – творчество. Вечная игра, происходящая на границе. Я провоцирую мужчину и он взлетает ракетой... Зарплату положил вполне приличную, и уборщицей работать не надо...

– Ну, ты молодец...

– Да, достигла того, о чем мечтала. Целый день рассуждаю о сексе, а мужчин рядом нет...

Не прощаясь, кладу трубку и думаю о том, как она готовится к своим заочным встречам. Господи, что происходит? Перестаешь верить своей биографии...

Длинный звонок в дверь прервал мои фантастические мысли.

«Кто бы это мог быть? Кто еще помнит обо мне? Открываю. На пороге высокая женщина, смотрит куда-то мимо. В руке огромная папка...

– Вам живопись не нужна?

А, так она художник! Здесь каждый вечер кто-нибудь предлагает свои услуги. То парфюмер, то книгоноша, то художники...

– У меня картин – все стены завешены...

– Извините, извините, я не знала, что здесь живете вы...

Только теперь замечаю, что художница – невестка Цуца, та самая, за которой он следит и которой буквально не дает прохода. Ну и дурака я сваял, мы же с ней несколько раз встречались во дворе и даже разговаривали...

– Извините, не узнал... Когда без очков – никого не узнаю... Пожалуйста, заходите, я обязательно у Вас что-нибудь возьму... – судорожно подсчитываю, сколько у меня денег. Нынешние израильтяне, пользуясь огромным рынком художников, хотят купить роскошную картину за сто шекелей плюс триста за раму. – Видите сколько всего... Отличные художники, мои друзья... Я ведь был человек ассимилированный... Совсем... Потом вдруг – «Кол Нидрей». Эта молитва перевернула всю душу. А дальше я попал в руки еврейских художников... Странно, слово меня не задело, а вот живопись коснулась каких-то генов, и все сдвинулось, все пришло в движение... Видите – человек выше домов, потому что он важнее домов... А эти дома висят на веревке, точно белье сушится...

Она напряженно всматривалась в картины. Мне даже показалось, что она стала как-то выше...

– Садитесь, садитесь, будем чай пить, – суетился я.

– Спасибо, – быстро согласилась она. – Это такой стыд... Ходить по домам, предлагать себя... Да, да, это не картины, это я себя предлагаю... Здесь я вся... У меня нет работ на заказчика...

– А вы какой художник? – сморозил я.

– Хороший. Разве вы видели художников плохих?

– Можно посмотреть?..

– Конечно. Но то были старые работы, советский период, а вот теперь...

И она стала одну за другой выкладывать свои работы. О Господи, застонал я, ведь это как раз то, что так мило моему сердцу: и могильные плиты на старом еврейском кладбище, качающиеся в разные стороны, как старые евреи. И дома, уходящие куда-то ввысь...

– Это дорога, – сказала она. – Начинается в Иерусалиме, а кончается в небе и снова опускается в Иерусалим. Откуда вышел, туда и пришел. Ломаная линия нашей жизни, мечтающая распрямится к концу дороги...

– Странный у вас Иерусалим... Какой-то ирреальный. Как мечта...

– А Иерусалим и есть мечта, – вдруг горячо сказала она.

Но ведь мы здесь, здесь... Я почти через день бываю в Старом городе, стою у Стены Плача, потом направляюсь к усыпальнице Давида... У меня столько своих маршрутов...

– В следующем году, в Иерусалиме, – как-то вяло сказала она.

– В этом, в этом году...

Она покачала головой. Глаза ее загорелись каким-то странным блеском...

– Мы здесь живем? А разве мы стали лучше оттого, что прикоснулись к святыням?

– Простите, я даже не знаю, как вас зовут...

– Рахель... Впрочем, мама звала меня Рейзл...

– Рахель-Рейзл... Красиво! Да, вы правы, лучше мы не стали...

– Тогда в чем смысл нашего пребывания здесь? Богатым – все равно где жить. В любой части света у них будет десятизвездочный, а хотите, стозвездочный отель. Средний класс живет там, где ему удобно. А мы с вами... Все те, кто за чертой бедности... Нет, мы должны жить

ради чего-то большего... У нас должна быть мечта. Иерусалим – наша мечта. Разве вас мама не учила быть на голову выше других, чтобы преуспеть в жизни?

– Галутная грамота, – согласился я.

– Жить в Иерусалиме – это значит быть лучше. Нет, нет, – сказала она как-то убежденно, – мы не становимся лучше...

И мне вдруг захотелось, чтобы все стены моей квартиры были увешены ее работами. Как быстро она уговорила меня!

– Я куплю у Вас эту... – сказал я, показывая на большую акварель, которая называлась «Небесный Иерусалим». Мне показалось, что дома взвились в небо и растворились в розовом безвоздушном пространстве.

– И эту... И эту...

– Правда? – изумилась она, – Но вам действительно некуда их вешать...

– Найду, – убежденно сказал я.

– Вам все это... нравится?

– Это замечательно, – задумался я. – Вот только с земным Иерусалимом мне не хочется расставаться. Люблю его... Как там у поэта: «Какие мы бросали города за право умереть в Иерусалиме!..»

– А мы сюда и не приезжали, – сказала она жестко. – Тело наше переселилось, а душа осталась в изгнании...

И я подумал, она, возможно, права. Ведь задели же за сердце ее картины. А Цуц? Зачем ему Иерусалим? Что из того, что он живет в Иерусалиме?

– Можно, я вам заплачу несколькими чеками? – спросил я, переходя на деловой тон.

– Вы даже не спросили, сколько это стоит. А вдруг сто тысяч долларов?

– Значит, я вам заплачу сто тысяч долларов...

– Так много зарабатываете? Сторожем на стройке?

– Пока не взяли... Место занято... Но откуда вы знаете?

– Интересовалась... – сказала она вяло. – Потом читала ваши статьи... Признаться, даже размышляла над ними...

– Значит, буду работать сторожем... Когда-нибудь... потом литературный гонорар... А вы спрашиваете, откуда деньги...

– А муж не хочет работать сторожем. И на стройке не хочет... Он, видите ли, инженер...

– По соцсоревнованию, – напомнил я...

– Говорит, если страна заставляет инженера, пусть даже по соцсоревнованию, работать грузчиком...

– Ничего страшного не вижу в том, чтобы поработать грузчиком... Ну, сидел бы *там* еще в каком-нибудь жюри, еще в какой-нибудь комиссии, понимаете, там все кончилось... Я все думаю, как это случилось, что кончилось? А сейчас – какие-то новые миры, какие-то новые возможности, главное, не впускать грузчика в душу...

Она задумчиво посмотрела на меня:

– В вас есть здоровая основа...

– А как еще прикажете заработать сто тысяч?.. Надо же с вами как-то рассчитаться...

– Хотите, я вам их подарю?

– Нет, – испугался я, – я хочу их купить...

– Но у вас здесь все работы дареные...

«Зачем мы говорим о глупостях, – подумал я. Мне надо поднять ее на руки и закружить, а потом спрятать голову в ее медных волосах. И так долго стоять... А потом упасть вместе... И переместиться в мир иной, где нет разумного и выверенного, где только неправдоподобное реально! У Люськи – муж. И я не хочу разговаривать с Милой по телефону! Я не хочу завтра,

ибо каждый из нас должен жить сегодня так, как будто он умер, и каждый новый день дан ему в подарок за праведную жизнь!

И я вдруг подошел к ней и молча взял ее на руки. И она не отстранила меня. И я стал целовать ее в губы. А она свернулась калачиком, точно спала на детской кроватке. И была совсем невесома, вот-вот вместе с домами взлетит вверх. И я испугался этого возможного полета. И все было, как я задумал. Мы рухнули вниз и поплыли, поплыли...

– Я люблю тебя, Рейзл... Я этих слов не говорил столько лет, что даже забыл, как они звучат...

– В первые дни у тебя жила какая-то рыжая дурнушка... Вероятно, ты – бабник...

– Конечно, конечно. – согласился я. Мне во всем хотелось с ней соглашаться, но поступил я как раз наоборот, заметив: – Ты не права, Рейзл, она была красавица... И вообще, как сказал Бродский, бабы делают писателя лучше... Жаль, мы расстались...

– Ушла?

– Нет, вместе с Женей спряталась в какую-то щель...

– Значит, здесь мы не одни...

– Вполне возможно...

Мы немного подремали, но страсть разбудила нас. Она называла меня львом, оленем, волком, быком, какими-то чудными именами. А я брал ее снова и снова, но все не мог утолить своего желанья, точно у меня никогда не было моих трех или четырех жен. Это походило на волшебство, из нас рвалась сила, о которой ни она, ни я, кажется, не подозревали. И мы познавали тайны собственного тела. Мне казалось, что мы потеряли стыд перед Богом...

– Смотри на меня и молчи...

А потом она ушла. И не захотела, чтоб я ее проводил. И оставила все свои картины:

– Не желаю, сказала, чтоб они жили в том страшном доме.

– А ты? Ты будешь продолжать, там есть, пить, спать? После... после этого праздника?

Она не ответила.

Ушла.

И мне захотелось самому заползти в какую-нибудь щель. Я не мог себе представить, что после этого полета буду один, без нее, в комнате, заселенной во всех щелях, как московская коммунальная квартира.

Почему ушла? Зачем ей было уходить? Что она оставила в том доме, ведь даже ее картины здесь...

Я разложил их на полу. Мне казалось, что они не только расцвечены, но озвучены и даже издают какой-то дурманящий запах. И тут я понял, что это запах ее волос и ее тела. И я зарычал, как раненый зверь: «Зачем я ее отпустил, зачем? Она – никто другой – дана мне Богом, только она. Эта длинноногая женщина в черной майке и короткой черной юбке, с медными волосами, которые пахнут мятой и медом...»

Я катался по полу от отчаяния, от безысходного горя...

Я ползал по полу, пока вдруг не очутился в какой-то щели. И услышал:

– Тебя приглашают на собрание...

– Партийное? – спросил я с испугом.

– Да...

– Мы строим новую партию «Израиль, вперед!»... Надо же что-то противопоставить этому... Диссиденту... Шахматисту... Выскочке, который и жизни по-настоящему не знает... Разве тюрьму... («Цальмон» – слышалось мне). И ты должен быть с нами... Мы выберем тебя в Вожди...

Как говорит мой друг Вита Лагина:

– Организационный комитет объявляет набор в Партию Не Знающих Чего Они Хотят. Приглашаются: мужчины, так и не выяснившие для себя кто им больше нравится-блондинки или брюнетки, женщины, колеблющиеся между семейным долгом и влюбленностью. Дети, не умеющие четко ответить на вопрос: кого они больше любят – папу, маму, бабушку или кошку... Специалисты с высшим образованием, обдумывающие, что чему принести в жертвы: работу мечте или наоборот, граждане, не знающие, что лучше – сильная рука или демократия. Вступительный взнос – 3,5 ден. знака. Устав Партии будет разработан на первом же открытом заседании партии, которое состоится...надцатого марта сего года».

Умница, Вита! Сочиняет сказки, а эту, в отличие от других – назвала «НЕ-СКАЗКА» и мне предлагают эту «НЕ-СКАЗКУ» всерьез...

Господи, неужели они вспомнили мои заслуги? Где-то в седьмом или восьмом классе школы, в самом конце учебного года, меня приняли в комсомол. Взносы же за лето комсорг класса не взял, дескать, успеется. И вообще, вся комсомольская работа начинается с осени...

Худшей пытки придумать для меня он просто не мог. Мне казалось, все смотрят на меня и спрашивают, как я могу спокойно ходить по улицам, в кино, играть в футбол, когда в моем новеньком комсомольском билете нет отметки об уплате членских взносов?

Как дождался той осени – не помню. Но уже в первые холодные дни, когда пришлось надеть пальто, комсомольский значок я прицепил на его лацкан. Тем более, что со взносами было все в порядке.

– Ах, боже мой... ах, боже мой! – бормотал я от радости. – Меня не исключили, а ведь могли...

Мама обнимала меня, целовала и говорила ласковые слова:

– Мне ведь тоже было тяжело...

Может быть это вспомнили?

Или фанатичку Милу? А может быть, они в качестве программы решили использовать мою старую пьесу?

Ах, недаром, я так боялся осени и наступающих дождей...

– Но ты просто обязан прийти. Разве ты забыл о нашей галутной еврейской солидарности? И потом, еще Троцкий отметил, что вовремя одного из первых арестов Сталина у него не было ни паспорта, ни определенных занятий, ни квартиры – «три классических признака революционного троглодита!» А у нас, израильских граждан, по меньшей мере, два из трех признаков – налицо – ни определенных занятий, ни квартиры...

В общем, с меня взяли слово, что приду.

– Да, вы даже не представились, – вздохнул я.

Писк усилился:

– Иврит – не знаю. Я – удостоверение личности...

Вечером я думал о ней, Рахель – Рейзл. И о том, что я пережил так нежно, без рисовки и ломанья, чистой сутью чувства. Мне казалось, что все, что было до нее, окрашивалось трогательностью, но недорого стоило. Сколько же раз можно любить? Столько раз, сколько появляется боль, печаль, тоска, самообман? Но этот искренний порыв ко мне! Явись, Женщина! Прикрой меня своим телом от наваждений... Я стану работать, я стану жить, вот еще и в вожди выберут...

Мы перезванивались каждый день.

– Любишь?

– Люблю.

– И я тоже. Люблю, люблю, люблю...

Порой я слышал ее зов наяву: «Смотри на меня и молчи!» Я явственно видел ее за мольбертом, у плиты, на кухне, ухаживающей за старой женщиной, у которой лицо, казалось, сложенным из кусочков... Она точно поселилась в моем черепе, и что бы я ни делал, она делала это вместе со мной.

Виделись мы только украдкой: на улице, в каком-нибудь кафе, баре, иногда встречались в парке. Я видел ее глаза, слышал ее плач: «Смотри на меня и молчи!» – шептала она, кусая и целуя меня...

Однажды я ей позвонил:

– Встретимся?

– Мечтаю, – сказала она. – Только Цуц решил ехать в Тель-Авив очки примерять... Муж говорит – надо ему помочь. Он даже слово «да» на иврите не знает, только «нет».

– Этот знает «да»... И только...

– Маловато, – огорчаюсь я и вспоминаю анекдот о милиционерах, которые ездили на мотоцикле втроем, так как один умел читать, другой писать, а третий любил побыть в интеллигентной компании. Может быть, и отец с сыном отправятся в поездку по такому принципу? А где взять третьего? Кто захочет вместе с ними?

– Прощаюсь, но ненадолго... Надолго не могу, – говорю я и молча дышу в трубку.

Она радостно смеется:

– Бай...

Я выхожу во двор, и вихрь слов налетает на меня.

Моим старичкам – соседям во дворе – не устаю удивляться. Мудрецы и дети одновременно. Мой тезка Лева, например, с одной стороны похож на Зиновия Герда, с другой – как ни смотрю – на артиста Тихонова. Можно заметить в нем сходство и с другими мастерами театра и кино. Если их взять и совместить. Это и будет Лева. В родной Одессе его величали Лев Львович. А как же: почетный работник мясо-молочной промышленности! А здесь в Израиле – Арье. А поскольку возраст у него почтенный, далеко за семьдесят, я по своей совковой привычке, хоть убей, не могу называть его только по имени. Не называть же его Арье Арьевич!

– Вы зачем имя поменяли? – спрашиваю, – Насколько мне известно, имя Лева в Одессе даже не имя, а миф. Этнография...

– Ах, молодой человек... Я столько критикую Израиль... Должен же я хоть что-нибудь для него сделать... Работать в кибуце – по годам, не берут. В парашютно-десантные войска – тоже. Соседи просто извели: Ты, Левка, говорят, для Израиля гвоздя в стену не вбил, тебе ли тут критику разводить? Босяки! Что, правда, то правда – для Израиля, гвоздя в стену не вбил – некогда было. То Комсомольск-на-Амуре строил, то на Карельский перешеек добровольцем поспешил, чтоб та пуля, которая угодила в живот, не дай Бог, не прошла мимо. Под Сталинградом – еще две всадили. Страну после войны восстанавливал... Одессу... Красавица! Как, спрашиваю, с моря? Рай! А с берега? То же самое... И был я веселый, энергичный... А сейчас – все запрещено, строгать запрещено, пилить запрещено, нагибаться запрещено, садиться на корточки запрещено... Говорят – гуляйте, а я гулять не могу без цели, мне скучно до ужаса. Вот и получается, что только советом Израилю и могу помочь. Ну, например, почему бы в стране не ввести день «Работника мясо-молочной промышленности?» А так, чтоб хоть чем-нибудь к Израилю присоединиться – пришлось имя сменить, как Бен-Гуриону...

– Напрасно смущаетесь, – успокаиваю его, – За год жизни в Израиле на вас столько людей нажилось – одно это любую жизнь оправдает...

– А и то, что Одессу оставил – тоже подвиг. Пообещал сыну: «На следующий год – в Иерусалиме». И выполнил. Вы когда-нибудь слышали, чтобы негры Соединенных Штатов Америки хотели возвратиться на свою историческую Родину? А евреи просто с ума сходят: «К Сиону!»

К Сиону!..» И сидят при этом, кто в Нью-Йорке, кто в Париже, кто в Жмеринке – безумный народ! С другой стороны смотрят, как их народ ломится в счастливое будущее...

– Ну вот, а вы говорите, гвоздя не вбил... Первая заповедь еврея – жить на Святой земле...

– Просто во мне говорит безумная кровь моего народа... Мессию нам подавай – и только... Кстати философ Бубер сказал...

– Кто, кто? – поперхнулся я.

– По радио РЭКА слышал: Бубер, Бу-бер... Чтоб он был здоров... В одно ухо вошло, а из другого не вышло... Рехнуться можно! Так вот этот самый Бубер ребенком, говорит, услышал в школе от учителя, что Мессия ждет у ворот Рима. Бежит домой, спрашивает дедушку: «А кого он ждет?» А дедушка, представьте себе отвечает: «Тебя...» Вы понимаете, в чем тут дело? Тебя! Значит, и меня тоже?! И Любавичского ребе... Вы думаете, он почему на белом коне во всех газетах красовался... Все говорили: еще несколько дней и он – Мессия. Займет, значит, мое место и – баста! Тут я не поленился позвонить в его офис в Нью-Йорк. И дьявол-искуситель соблазняет: «Льготный тариф, льготный тариф...» В общем, звоню по льготному тарифу ночью: так, мол и так, говори правду... Точно ли хочешь быть Мессией? Да, между прочим, как Брежнев звонил в Америку, знаете? Нет? Звонит, значит, он в Америку и кто-то снимает трубку. «Алло, алло, – говорит Брежнев, Рокфеллер, это ты? Не узнал я тебя, богатым будешь...» Так вот, я тоже Любавичского ребе не узнал, хотя, как вы понимаете, лучше было бы, если бы не узнал он меня... Секретничал я с ним целых полчаса, потом обливался... На идиш говорит, доложу вам, как настоящий одессит – с акцентом... Одно удовольствие. Вот я и говорю ему, нельзя же так, ребе, ведь Торой обещано, что Мессией может стать каждый из нас... И я тоже... Когда началась перестройка и стали все дерьмом обливать – от Ильича до Ильича – мне сказали: Арье! то есть тогда еще Лева... Ты со своим Комсомольском-на-Амуре, финской пулей и двумя гитлеровскими даром жизнь прожил... Вроде бы и жизни никакой не было... И вот я, наконец, узнаю про Мессию... И про то, что Мессия ждет... И тут приходит чужой человек и забирает у меня самый сладкий кусок. Кто такой, откуда, почему? Ребе обо всем как-то промолчал, и вообще, история еще не закончилась, но я жду... Жду, потому что ожидать Мессию и коммунизм – как говорят в Одессе – две большие разницы. Теперь вы понимаете, почему помимо государственных соображений я имя сменил. Белый ослик, на котором должен появиться Мессия, на имя Арье откликается лучше...

– Может быть – Бен-Арье... – философствовал я.

– Не все сразу... Я же не флюгер... Я не могу так быстро менять мнение... Вот привыкну к Арье, а там...

Некоторое время молчим. Я думаю о том, что до сих пор считал, будто бы самые безумные люди на свете: русские – такую страну по миру пустить... Оказывается, евреи. Только они способны стоять в очереди за книгой Анатолия Иванова «Вечный зов» в очереди, хотя это все равно, что стоять в очереди на партсобрание...

Похожесть русских и евреев часто не дает мне покоя. От Акакия Акакиевича до министерства его же ведомства, как говорила Марина Цветаева «вычеркнутость из жизни». Произнесешь «чиновник» и сразу увидишь кладбище со всеми его разрядами. Некое постепенное зарывание в землю: чем выше, тем глубже.

– Конечно, – говорит Лева, – про капитализм газета «Правда» писала все верно – джунгли. И никакой строительный подрядчик моему сыну Сеньке, тренеру по фехтованию, а ныне каменичку на стройке не брат и даже не товарищ. Да! Капитализм! Но разве человечество придумало что-нибудь лучше? Теперь посмотрим в зеркало. И про изображение свое скажем. Перед исходом хорохорились: никакой труд не страшен: таскать кирпичи, манеке-ном работать... Ну прямо Хаим-Чапаев! Чушь, блажь, безумие... На самом деле, ничего не

можем... То есть сортиры убираем, кирпичи таскаем, кто-то даже мишенью работает, а все равно не умеем, потому что не дают покоя «былое и думы»: «...Я, видите ли, *там*

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.